

НОВАЯ ПОЛЬША

№ 7-8₍₁₁₎



2000

СУД НАД XX СТОЛЕТИЕМ

Ежи Стемповский Поляки у Достоевского

Сергей Ларин Одинокий охотник

Рышард Капусцинский Упражнения для памяти

Рубеж Востока проходит через Польшу

СМЕРТЬ ОТЦА ЮЗЕФА ТИШНЕРА

Не важно из чего сделана дубинка -

Беседа Бронислава Вильдштейна с Лешеком Колаковским

ВАРШАВА

НОВАЯ ПОЛЬША

ISSN 1508-5589



№ 7-8(11)

2000

ИЮЛЬ-АВГУСТ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

	СУД НАД XX ВЕКОМ	3
	Виктор Кулерский ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ	30
	Сергей Ларин ОДИНОКИЙ ОХОТНИК	36
	Рышард Капусцинский УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАМЯТИ	41
	Славомир Поповский ТРЕТЬЯ НАДЕЖДА РОССИЯН	46
	Лех Фаландыш МГНОВЕНЬЕ МОСКВЫ	51
	Лех Валенса ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ	51
	Ежи Стемповский ПОЛЯКИ В РОМАНАХ ДОСТОЕВСКОГО	54
	ПОЛЬСКО-РУССКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ	63
	RUSSICUM — NON LEGITUR	64
	ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ	66
	Из книги «ОТ БЕРДИЧЕВА ДО РИМА»	67
	БИБЛИОТЕКА КОНТРАБАНДИСТОВ	68
	О ЕЖИ СТЕМПОВСКОМ ГОВОРЯТ...	57
	Лешек Шаруга ЧЕЛОВЕК ПОРУБЕЖЬЯ	69

JERZY STEPPOWSKI



	Гжегож Пшебинда КАПЕЛЛАН КРАКОВСКИЙ И ВСЕЯ ПОЛЬШИ	76
	Янина Куманецкая ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ	78
	Ольга Дешко КРАКОВ — “КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ”	81
	РУБЕЖ ВОСТОКА ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ <i>С Мечиславом Прушинским беседует Ремигиуш Гжеля</i>	84
	Антоний Кучинский ЛЮДИ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖЕЙ	87
	Валерий Мастеров ДОМАГАРОВ В БИРНАМСКОМ ЛЕСУ	91
	Лешек Шаруга ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ	96
	ЧТО УГОДНО МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ДУБИНУ <i>Бронислав Вильдштейн беседует с Лешеком Колаковским</i>	100

Переводчики: А.Базилевский, А.Бондарев, Л.Гвозд, Н.Горбаневская, Н.Кузнецов, С.Ларин, С.Филипчак, Е.Шиманская.

Фото ©: А. Rybczyński (РАР/САФ) (стр. 41, 100), В.Мастеров (стр. 91), К. Wojciechowski (стр. 51), К. Mięka (стр. 51), J. Zych („Przekrój”) (стр. 76, 80)

Редакционный совет

Стефан Братковский
Хенрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Чёсек

Главный редактор

Ежи Помяновский

Редколлегия

Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер

(зам. главного редактора)

Кристина Пашек

(секретариат)

Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих

(зам. главного редактора)

Станислав Филипчак

(ответственный секретарь)

Лешек Шаруга

Дмитрий Шевионков-Кисмелов

(главный художник)

Графика и макет

Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Верстка

Малгожата Мёнсковяк

Адрес редакции

Al.Niepodległości, 213

00-973 Warszawa

Ал. Неподлеглости, 213

00-973 Варшава

телефоны: (0-22) 6082795; 6082565

факс: 6082505; 6082796

e-mail: nowpol@bn.org.pl

Информация о журнале для стран

СНГ: Издательство МИК, Москва, ул.

Большая Переяславская, д. 5, кв 49.

Тел.: 280-83-52

e-mail: mik@mecom.ru

Издатель

ВІБЛІОТЕКА НАRODOWA

НАЦИОНАЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА

По поручению

Министерства Культуры

и Национального Наследия

Республики Польша



СУД НАД XX ВЕКОМ



“Суд над XX веком” состоялся в рамках празднования 55-летия “Тыгодника повсехного”. 1 апреля 2000 года зал заседаний совета королевского города Кракова, а также соседний с ним бальный зал, где был установлен телеэкран, заполнило более тысячи человек. Процесс продолжался четыре часа. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стенограмму этого процесса. Автором идеи “суда” был Петр Мухарский, он же разработал сценарий.

“Тыгодник повсехны”, выходящий в Кракове вот уже 55 лет и до недавнего времени руководимый Ежи Туровичем (умершим в прошлом году), в годы коммунизма был в Польше важнейшей газетой. Польская интеллигенция (не только католическая) всегда считала этот еженедельник своим органом.

1-го апреля, по инициативе еженедельника, в Кракове состоялось необыкновенное мероприятие: “Суд над XX веком”. С любезного разрешения организаторов мы публикуем стенограмму этой встречи.

В суде приняли участие:

свящ. Адам Бонецкий - главный редактор еженедельника “Тыгодник повсехны”

Анджей Цолль - юрист, до недавнего времени председатель Конституционного трибунала, ныне омбудсмен

Кшиштоф Песевич - адвокат, сценарист цикла кинофильмов Кшиштофа Кеслёвского “Декалог”

отец Ян Анджей Клочовский - монах ордена Доминиканцев, философ

Войцех Рошковский - историк, автор документальных трудов по новейшей истории Польши, до 1989 года печатавшийся в самиздате

Барбара Скарга - философ, в сталинское время узница советских лагерей

свящ. Михал Хеллер - астрофизик, ректор духовной академии в Тарнуве

Рышард Капустинский - писатель

Анджей Вайда - режиссер театра и кино, лауреат премии “Оскар” за совокупность творчества (2000 г.)



Марек Эдельман - врач, последний живущий командир восстания в Варшавском гетто (1943 г.) и участник Варшавского восстания (1944 г.)

Антони Либера - прозаик, переводчик и знаток творчества Самуэля Беккетта.

ВСТАТЬ, СУДИДЕТ!

Судебный пристав свящ. Адам Бонецкий:

Благодарю вас, господа, за то, что вы прибыли на процесс, возбужденный “*Тыждником повшехным*” против XX века.

Важность самого события и того места, в котором оно происходит, вынуждает меня просить вас выключить на время процесса мобильные телефоны и пейджеры.

Присяжные заседатели, займите, пожалуйста, свои места. На скамью присяжных вызываются: Кшиштоф Бурнетка, Катажина Яновская, Анджей Добош, Анна Стыпка, Яцек Флик, Кристина Стшелецкая, а также староста присяжных профессор Яцек Клиновский...

Председательствующий Анджей Цоль:

Общественный суд начинает рассмотрение дела. Предметом рассмотрения будут обвинения, выдвинутые против XX века. В процессе принимает участие общественный обвинитель отец Ян Анджей Клочовский с помощником Янушем Майхерком. В суд явился подсудимый XX век вместе со своим адвокатом Кшиштофом Песевичем и его помощником Войцехом Бергером.

Дамы и господа присяжные заседатели! И сам этот процесс, и подсудимый, и суд необычны. Любой из нас, присутствующих здесь, мог стать на этом процессе свидетелем и судьей. Все мы на протяжении всей своей жизни сопутствовали подсудимому, а выдвинутые сегодня против него обвинения и представленные обвинением и защитой доказательства вменяют наш опыт и наши размышления. Мы были обречены на участие в деятельности подсудимого. Поэтому сегодняшний процесс — это одновременно размышления о нашей жизни, наших поступках, наших заслугах и провинностях.

Дамы и господа присяжные заседатели! Я надеюсь, что вы сумеете быть объективными, рассмотрите аргументы за и против и вынесете объективный и справедливый приговор.

Ваш приговор будет относиться не только к подсудимому,

но и ко всем нам.

Прошу обвинителя представить обвинения.

Защитник Кшиштоф Песевич:

Господин председатель, прежде чем выступит обвинитель, я хочу внести ходатайство.

Как известно, на скамье подсудимых должны оказаться также подстрекатели, пособники и соучастники преступлений. Предлагаю суду расширить рамки процесса и включить в обвинительный акт век XIX-й!

Председательствующий:

Господин адвокат, нам уже знакомы попытки откладывать судебные заседания, затягивать процесс. Суд отклоняет ходатайство. Местопребывание XIX века неизвестно.

Прошу обвинителя представить обвинения.

Обвинитель отец Ян Анджей Клочовский:

Господин председатель и присяжные заседатели! Сегодня вы будете определять вину подсудимого — XX века. Следовало бы начать с установления его анкетных данных.

Председатель-
ствующий
Анджей Цоль





Удалось установить, что подсудимый родился в 1914 году, а к жизни его вызвали выстрелы в Сараеве. Уходить из этого мира он начал — причем это был еще не окончательный уход — в 1989 г., когда в Польше и Центральной Европе был свергнут коммунизм. Кончину же подсудимого можно отнести к 1991 г., то есть к дате падения советской империи. Личность его вырисовывается четко: это фигура преступника, виновного как в заурядных, так и в незаурядных, ставших возможными лишь в этом веке преступлениях.

Я обвиняю XX век в сознательной слепоте, которая выразилась в полном и сознательном убийстве воображения. В своих деяниях он не предвидел — ибо не желал предвидеть — их последствий. Будучи преемником века Просвещения, он с самого начала считал себя лицом совершеннолетним и способным пользоваться разумом. Однако не разумом он руководствовался, а голосом масс, вернее толпы, которую никак не следует путать с народом.

В каких областях мы можем проследить его преступные деяния? Назову некоторые из них. Начнем с социальной инженерии.

Я обвиняю XX век в том, что он поставил массу над личностью по меньшей мере двумя способами. Во-первых, способ тоталитарный — в красной и коричневой версиях. В обоих случаях иерархия была одна и та же — верховенство коллектива над личностью. Именно в этом веке было сказано: «единица — вздор, единица — ноль», а партия — это «рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак». И это отнюдь не была лишь метафора — это был весьма конкретный кулак, смертельно разящий непокорных.

Однако верховенство массы над личностью проявлялось и там, где господствовала демократия, которая поначалу противостояла тоталитаризму и стойко защищала права человека. Но зачастую оказывалось, что ее собственные ценности оказывались выхолощенными.

Подчинение личности массе привело к ряду роковых последствий — среди них, например, потеря уважения к жизни. Разумеется, в любом веке совершались преступления, но идеологический и тоталитарный геноцид в небывалых для истории масштабах — одно из сомнительных достижений XX века. Впервые целям убийства послужили индустриальные методы. Клиническим примером этого был чудовищный опыт населения Камбоджи, где в чисто идеологических целях были уничтожены полтора миллиона человек, а ради экономии боеприпасов жертв душили, обвязав им головы пластиковыми пакетами. Это происходило в 70-е годы сего века, немного лет спустя после чудовищного опыта Катастрофы и ГУЛАГа. Этот опыт, как видно, ничему не научил подсудимого.

В области производства и распределения благ я обвиняю XX век в неспособности решать проблемы, им же и порожденные. С одной стороны, он вызвал перепроизводство, породившее дух потребления, а с другой — небывалый размах гибели миллионов людей от голода. С одной стороны, как предсказывал Хаксли, должен был возникнуть «новый прекрасный мир», но в этом мире, который стремился к перепроизводству и потреблению, богом стала модель черного «Форда». В этом и заключается бархатная тирания демократии XX века, равнодушной к голодной смерти миллионов людей в южной части земного шара.

Говорят, что XX век был веком великих научных достижений, но вместе с тем именно в этом веке они служили прежде всего наращиванию мощи генеральных штабов и армий. Даже космические экспедиции служили военным целям. Альберт Эйнштейн сказал, что освобождение ядерной энергии изменило всё, за исключением нашего образа мыслей. Мы получили мощные и опасные средства, которые не сумели использовать для того, чтобы облегчить людям жизнь.

Я ставлю XX веку в вину полную неразбериху в понятиях, основанную на том, что под сомнение были поставлены сами инструменты мышления. С одной стороны, этот век считал себя веком разума, с другой же — оказался осужден на иррациональные и судорожные поиски ответа на самый важный вопрос — о смысле жизни. Когда было подвергнуто сомнению такое понятие, как «природа человека», беззащитная личность оказалась отданной на съедение анонимным силам, решавшим ее судьбу.

В области культуры XX век в определенном смысле осуществил благородный по замыслу проект просвещения умов, но привел к разрыву преемственности памяти, что стало одной из причин потери человеком самосознания. Культура оказалась отгеснена на обочину, а власть взяла пошлая массовая культура. В области искусства высшей ценностью была признана новизна, поэтому исчезло чувство



святости и запрета. У потерявших корни, у потерянных судорожное стремление сохранить преемственность нашло выражение в опасных формах фундаментализма.

Господин председатель! Достопочтенные присяжные заседатели! Сегодня вам предстоит решить, виновен ли XX век в этих преступлениях и каковы их корни.

Председательствующий:

Благодарю вас. Слово имеет защита.

Защитник:

Господин председатель, прежде чем начнется судебное следствие, прошу обвинителя точнее определить личность подсудимого. Обвиняет ли он некий фрагмент XX века или весь XX век в целом?

Обвинитель:

Мы обязаны определить принцип, исходя из которого будем исчислять время деятельности подсудимого. Что нас интересует — абстрактное астрономическое время, исчисляемое в соответствии с процессами, идущими в космосе? Или мы исчисляем человеческое, иными словами, историческое время? Обвинение вносит ходатайство: считать даты 1914-1991 временем исторических процессов, которые имеют решающее значение для определения вины подсудимого. Принятие астрономического времени было бы чисто механическим и малозначимым для нашего разбирательства.

Защитник:

Следует ли понимать так, что продолжительность XX века мы будем определять исходя из взглядов обвинителя, а не от Рождества Христова?

Обвинитель:

Я хотел только указать, что после 1989 г. XX век живет уже только потайной жизнью, и я не знаю, может ли стать предметом нашего разбирательства его более поздняя деятельность. Кое-кто утверждает — хотя я не располагаю вещественными доказательствами этого, — что в последнее время он страдает болезнью Альцгеймера.

Председательствующий:

Это опасный для обвинения тезис, ибо нам пришлось бы вызывать экспертов для экспертизы вменяемости подсудимого.

Суд считает, что тезис обвинения относительно самого короткого века в истории — а таковым оказался бы этот век — не может быть принят. Будем исходить из того, что предмет разбирательства — деятельность XX века на всем его протяжении до сего дня.

Прошу прокурора вызвать свидетелей обвинения. Начинаем судебное следствие.

Обвинитель:

Вызываю свидетеля профессора Войцеха Рошковского, историка.

Председательствующий:

Предупреждаю свидетеля об обязанности говорить правду и только правду.

Обвинитель:

Характерна ли преступная деятельность тоталитарных режимов только и исключительно для нашего столетия? Считаете ли вы, что подсудимый излечился от тоталитарных болезней или же их вирусы по-прежнему сохраняются в его организме?

Свидетель проф. Войцех Рошковский:

Несомненно, тоталитаризм был преступным и уникальным явлением XX века. В более ранние эпохи он не наблюдался. Не было ни массового общества, ни технических средств, позволяющих осуществлять столь широкое порабощение целых народов. Это отличие принципиальное, но не единствен-

Защитник
Кшиштоф
Песевич





ное. Тоталитаризм XX века — будь то нацистский или коммунистический — затрагивал судьбы сотен миллионов людей не только во время войн, революций, общественных волнений. Тоталитаризм XX века убивал людей и в мирное время, то есть вне зависимости от ведущихся войн. Катастрофа имела место во время II мировой войны, но с войной была связана лишь косвенно. Лагеря существовали и в мирное время. Китайская культурная революция, вышеупомянутые массовые убийства при красных кхмерах — все это происходило в мирное время.

Тоталитаризм XX века виновен в страданиях и смерти людей в результате действий, предпринятых во имя идеалов, понимаемых совершенно превратно, можно сказать “извращенных идеалов”. Идеалы XX века превратились в идеологии уничтожения, на службу которым были поставлены новейшие технические достижения. Они использовались, чтобы сеять ненависть — классовую и расовую, — чтобы извращать слова, принуждать к повиновению злу, наконец, чтобы пытаться и убивать.

Более того, именно в этом вопросе подсудимый признал свою вину лишь частично. Он признался в геноциде от руки нацистского тоталитаризма, но трудно сказать, что он полностью признал свою вину в массовых преступлениях коммунизма. Еще и сегодня мы слышим голоса, защищающие коммунизм или утверждающие, что “коммунизм не поднимал руку на свободу”, — я цитирую недавнее высказывание премьер-министра Франции Лионеля Жоспена. Преступления нацизма и коммунизма трудно привести к общему знаменателю, ибо явления эти различны и по времени, и по интенсивности, но не подлежит сомнению, что сегодня мы имеем дело с тоталитарной по духу фальсификацией исторической действительности.

Тоталитаризм XX века опирался на насилие и ложь. Насилие в значительной степени приостановлено, но ложь о тоталитаризме остается.

Обвинитель:

Можете ли вы назвать здесь число жертв тоталитарных режимов XX века, ибо мы судим подсудимого не только за его идейные ошибки, но прежде всего за деяния, ставшие их результатом?

Свидетель Рошковский:

XX век гордится достигнутым уровнем интеллекта, техническим совершенством, распространением информации. Увы, мы до сих пор не знаем даже приблизительного числа жертв тоталитаризма XX века. Оно колеблется между 100 и 200 миллионами. Согласитесь, дамы и господа, такая ошибка недостойна века разума.

Обвинитель:

Можно ли рассматривать плановое хозяйство как преступление против человечества, ведущее либо к постоянной нищете, либо просто к гибели от голода, как на Украине в 30-е годы?

Свидетель Рошковский:

Экономическая сфера особенно отягощает вину тоталитарных систем XX века. Они мобилизовали резервы рабочей силы, чтобы под принуждением достичь того, что экономисты называют первичным накоплением социализма — как, впрочем, и нацизма. Этот принудительный труд был некоторое время выгодным для государства — до тех пор, пока его высшим принципом был террор. Когда необходимость в терроре для отправления власти отпала, система стала вязнуть в противоречиях. Только с помощью террора удавалось сохранить относительную рентабельность системы. Оружейные заводы III Рейха,



Свидетель
Рошковский



на которых работали рабы, и советского типа лагеря, где в огромных масштабах эксплуатировалась практически дармовая рабочая сила, продавали на Запад продукцию по рыночным ценам. Благодаря этому строилась "материальная база" социализма и нацизма. Произведенную продукцию обе системы использовали на цели экспансии, агрессии и дальнейшего истребления людей.

Обвинитель:

На сколько лет плановая тоталитарная экономика затормозила развитие стран, в которых она осуществлялась?

Свидетель Рошковский:

Определить это можно далеко не всегда. В 1930 г. народное хозяйство Польши стояло примерно на 10-15% выше, чем в Греции. Ныне национальный доход Греции превышает уровень польского почти в два раза.

Обвинитель:

Спасибо, у меня больше нет вопросов к свидетелю.

Председательствующий:

Защита может располагать свидетелем.

Защитник:

Свидетель, занимались ли вы научными исследованиями до 1989 года? Чем вы занимались до 1989 года?

Свидетель Рошковский:

Я занимался научной деятельностью.

Защитник:

У вас выходили книги?

Свидетель Рошковский:

Да.

Защитник:

Под вашей фамилией?

Свидетель Рошковский:

И под моей, и под чужой.

Защитник:

Почему под чужой?

Свидетель Рошковский:

Потому что публикация некоторых вещей под своей фамилией грозила очень серьезными последствиями.

Защитник:

Сегодня у вас выходят книги?

Свидетель Рошковский:

Да.

Защитник:

Под чьей фамилией?

Свидетель Рошковский:

Под моей собственной.

Защитник:

О чем это свидетельствует?

Свидетель Рошковский:

О том, что сегодня есть свобода слова.

Защитник:

Есть ли у вас ощущение, что сформированная историей и людьми среда, в которой вы сегодня живете, способствует вашему развитию?

Свидетель Рошковский:

Если говорить о настоящем времени, то возникает сомнение в том, что мы еще живем в XX веке...



Председательствующий:

Суд уже высказался по этому вопросу. Прошу вас, свидетель, придерживаться этого постановления.

Свидетель Рошковский:

Согласен, сегодня я чувствую себя свободным.

Защитник:

Спасибо, у меня больше нет вопросов.

Обвинитель:

Вызываю свидетеля профессора Барбару Скаргу, философа.

Председательствующий:

Со смущением — в данном случае — напоминаю об обязанности говорить правду.

Обвинитель:

Я прошу свидетеля высказаться по вопросу анонимности массы и разрушения человеческого достоинства в XX веке. Был ли человек тем самым лишен способности жить свободно и ответственно?

Свидетель профессор Барбара Скарга:

Господин прокурор, вы спрашиваете у меня про человека, а я не очень-то знаю, как о нем говорить. Что представляет собой человек сегодня и что это вообще сегодня значит?

Мы ведь живем в научно-технический век, и это отражается на нашем понятии человека. Для ученого человек — представитель вида, для социолога — элемент общества, для врача — случай из лечебной практики, для политика — избиратель, а для экономиста — налогоплательщик или потребитель. Нет больше индивидуального человека. Есть только человек, сведенный к социальной роли.

Когда наука и техника становятся главным в истолковании мира, отдельный человек сокращается, уменьшается до размеров винтика в огромном мировом механизме и перестает что-либо значить.

Никого не интересуют страдания, желания, смерть отдельного человека. Личность исчезает, остаются только массы. На этой шахматной доске человеком можно манипулировать всеми возможными способами — как сочтут нужным великие игроки мира сего. Обычных людей, которые больше ничего не значат, можно лишать корней, переселять, можно уничтожать целые народы. Мы хорошо это знаем из истории XX века.

Значение имеют общество, нация, партия, организация. Хуже того, мы сами начинаем верить в то, что ничего не значим, и не любим отличаться от окружающей нас массы. Мы сами трудимся над потерей своей индивидуальности. Мы хотим быть как все, не быть оригинальными, ничем не выделяться. Нам не нравится “инаковость”, мы обожаем заурядность.

В нашем веке появился и культ личности — в свете того, что я уже сказала, это кажется невероятным парадоксом, но это не парадокс. Раз такую важность приобрело общество и чем оно больше, тем большим уважением пользуется, личности, олицетворяющие то или иное общество как его зримые символы, становятся предметом поклонения. Сталин олицетворял собой весь мировой пролетариат. Гитлер — могучую немецкую нацию. А когда этих великих идолов не стало, мир возжелал малых. От великих преступников он перекинулся на мишуру массовой культуры. Того, кто помнит энтузиазм масс на партийных собраниях, а сегодня поглядит на звезд рока и орущую в их честь толпу, где теряется индивидуальность, поразит сходство поведения.

Таким образом, индивидуальность исчезает. Мы не любим индивидуальность, не любим элиту. Иногда мы делаем исключения, но элиту мы не любим. А культура не существует без элиты.

Обвинитель:

Для нашего процесса было бы важно услышать ваше мнение относительно практических последствий разрушения индивидуальности. Оказывает ли это влияние на то, что преступление совершается с согласия общества?

Свидетель Скарга:

Безусловно. Если личность ничего не значит, то человек перестает быть виновником, не отвечает за свои поступки. Говорят: виновато общество. Виновата школа, виновато воспитание, виновата история.



Никто больше не хочет отвечать за свои поступки. Именно потому, что чувствует себя целиком и полностью подчиненным этой истории, этому обществу.

И прямо говорится: виновника нет. А в области культуры тоже говорят: автора нет. Нет ответственности, и тогда все позволено. Нет уважения к другому человеку, ибо другого можно уважать, когда уважаешь сам себя.

Обвинитель:

То есть на основании ваших слов можно безусловно утверждать, что в XX веке весьма далеко зашел процесс дегуманизации, выразившийся в массовом исчезновении чувства ответственности.

Защитник:

Протестую!

Свидетель Скарга:

Столь резко я бы вопрос не ставила, но эти тенденции очевидны и с ними надо вести борьбу.

Обвинитель:

Спасибо.

Председательствующий:

Слово предоставляется защитнику.

Защитник:

Простите, что задаю этот вопрос, вы ведь занимаетесь и преподавательской деятельностью...

Свидетель Скарга:

Да.

Защитник:

Довольно давно?

Свидетель Скарга:

Уже довольно давно...

Защитник:

Ваши ученики были личностями? Или это была масса?

Свидетель Скарга:

Есть старая польская поговорка: "исключения подтверждают правило".

Защитник:

Но формируют ли наше будущее эти исключения?

Свидетель Скарга:

Мне бы хотелось, чтобы мои ученики формировали наше будущее, но как раз они мало что могут сказать в массе.

Защитник:

Недавно — год тому назад [во время паломничества Папы Иоанна Павла II в Польшу] — на краковских Блонях под проливным дождем собрался миллион людей. Что это было — масса или личности, пришедшие ради того, чтобы пережить нечто каждый индивидуально?

Свидетель Скарга:

Вы, господин адвокат, задаете мне трудный вопрос. Я никогда не бываю уверена в том, насколько все это искренне и как эти люди повели бы себя, если б перед ними стоял Пресли. Я надеюсь, что им не все равно, что, может быть, многим из них не все равно. Но как обстоит дело в массе?

Защитник:

Вы уверены?..

Свидетель Скарга:

Я не уверена! Я свидетель, но не могу судить о том, что творится в человеческих душах.

Защитник:

Спасибо, у меня больше нет вопросов.

Председательствующий:

Есть ли у обвинителя другие свидетели?

Обвинитель:



Да, господин председатель, у меня еще несколько человек. Вызываю свидетелем священника, профессора-физика Михала Хеллера.

Господин председатель и достопочтенные присяжные заседатели, вы, очевидно, хотели бы узнать, насколько свидетель компетентен...

Свидетель священник, профессор Михал Хеллер:

Я — римско-католический священник...

Обвинитель:

Сегодня это не предмет обвинения...

Свидетель Хеллер:

...занимаюсь наукой — теоретической физикой, релятивистской космологией, философией, философией науки.

Обвинитель:

Одним словом, вы ориентируетесь в положении науки в XX веке?

Свидетель Хеллер:

Надеюсь, что да.

Обвинитель:

Часто можно услышать, что весьма развитый на вид в научном плане XX век одновременно науку уничтожал. Каково ваше мнение по этому вопросу?

Свидетель Хеллер:

Господин председатель и достопочтенные присяжные заседатели, я хотел бы начать с субъективного признания: я люблю XX век, поскольку это мое время. С тем большей болью я буду говорить о том, о чем меня попросили сказать.

Наука — вещь чудесная, хотя XX век ее сильно деформировал и использовал в дурных целях. В этом столетии многие люди поддались внушению, что сама по себе наука — это некое зло. А наука — все же благо. Такое же благо, как человечность. Человек — существо разумное. Разумность входит в суть человечности, а наука как раз — прекраснейшая квинтэссенция нашей разумности. Поэтому она имеет и нравственную ценность: создавая науку, занимаясь ею, мы одновременно создаем и развиваем человечность.

Изучая мир, мы приближаемся к истине. Таким образом, наука имеет большую познавательную ценность. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что наука представляет собой и эстетическую ценность. Она прекрасна. Мы создали немало замечательных произведений искусства, но я сомневаюсь, что красоту любого из них можно сравнить с наукой. Наука — это совершенно невыразимая абстракция и одновременно нечто конкретное — осязаемое и оказывающее сопротивление.

Я не собираюсь утверждать, что в этом веке не было великих достижений. От XIX столетия мы унаследовали ряд проблем, которые вначале привели к великой революции в основах наук. Она была одним из величайших шагов человечества в его стремлении познать действительность. Я имею в виду прежде всего возникновение теории относительности и квантовой механики и все их дальнейшие последствия.

У своего предшественника, XIX столетия, XX век, конечно, мог многому научиться. Но между ними существует огромная разница: XIX век был веком ученых, XX-й — век научных работников. Сегодня гиганты тонут в море серости и заурядности, которые вдобавок наделены амбициями сверхгигантов.

И вот мы вступили в этот век, имея огромные достижения, но что произошло? Немедленно появились теории, провозглашающие, что наука — это всего лишь множество соглашений, а затем — что ее надо свести к множеству чувственных ощущений. Конвенционализм и позитивизм несли много важного и ценного, но настолько смешанного с чепухой, что стали успешным средством оглушения людей. Любой ученый и даже рядовой научный работник, занимающийся своей специальностью, обязан отдавать себе отчет в том, что главные тезисы неопозитивизма — это набор чепухи.

Эти системы тяжким бременем легли на наше столетие, внушив людям метафизику, согласно которой любая метафизика — вздор. Так обстояло дело в одной части мира. В другой его части XX век



избрал совершенно иную стратегию — откровенной лжи и террора. Утверждалось, что наука поддерживает набор лозунгов, называемый диалектическим материализмом. Его насильно вдалбливали людям. Того, кто отваживался думать иначе и был настолько неосторожен, что это обнаруживал, ликвидировали. Не так давно один из советских — ныне российских — ученых сказал, что завидует нам, имевшим инквизицию: она созывала хоть какой-то суд, а в Советах провинившегося просто ставили к стенке.

Зло характеризуется тем, что оно иррационально, что оно не хочет считаться со структурой действительности, поэтому рано или поздно — к сожалению, слишком часто поздно — оно не может не рухнуть. В 70-е годы строгий позитивизм перестал господствовать. Вскоре после этого рухнула и система коммунистической лжи и террора. Казалось, наконец-то мы сможем вдохнуть свежего воздуха, жить в атмосфере свободы и ответственного, то есть критического, мышления. И что же произошло? Воцарилось новое, еще более изощренное, чем прежде, хитроумие. Свобода мышления? Ну разумеется! Но прежде всего надо освободиться от внутренних ограничений. А что ограничивает человека больше всего? Логика, которую придумали ученые Нового времени. Значит, долой логику, долой самодисциплину, долой современность, теперь мы создадим свои новые времена — постсовременность. Эта бацилла уже распространяется.

XX век унаследовал от своих предшественников вопросы, которые привели к величайшим открытиям. Но я часто спрашиваю себя: а что мы передадим своим потомкам? Не будет ли это попросту информационная жвачка, хоть и в упаковке высоких технологий?

Обвинитель:

XX век использовал науку и технику в целях убийства. Что вы могли бы сказать нам об изобретениях, которые были прямо использованы как оружие массового поражения или инструмент геноцида?

Свидетель Хеллер:

О том, что преступления стали индустрией, а индустрия есть результат технологии, которая, в свою очередь, есть продолжение науки, говорили уже другие свидетели. Мне бы не хотелось своими рассуждениями разводиться важность их показаний. Хочу только обратить внимание на связь двух вещей: технологии преступления и псевдофилософского манипулирования наукой. Одно без другого невозможно, я бы даже сказал, что манипулирование наукой — это условие технологии преступления.

Обвинитель:

Потому что сегодня в науке ценится скорее эффективность, нежели истина? А эффективность можно купить, и не только за взятку, а, например, за бюджетные средства...

Свидетель Хеллер:

Дешевле внушить, чем купить.

Обвинитель:

Итак, специфика XX века заключается в том, что ему удалось, в том числе и с помощью науки, создать технологию, которая позволила ему осуществлять куда более интенсивные, чем в предшествующие столетия, преступные действия...

Защитник:

Протестую! Господин председатель, я бы попросил, чтобы свое мнение высказывал свидетель, а не обвинитель выдвигал свои тезисы.

Председательствующий:

Упрек справедливый. Прошу обвинение сформулировать вопрос.

Обвинитель:

Итак, существует ли связь между политическими и финансовыми средствами, которые оказывают влияние на науку, и использованием науки в преступных целях?

Свидетель Хеллер:

Такая связь, разумеется, существует. С одной стороны, чтобы заниматься наукой, особенно с применением сегодняшних, технологически высокоразвитых средств, требуются огромные финан-



совые затраты. Это, естественно, создает возможность покупать ученых. Но открывается и еще одна возможность, которой не могло быть в предыдущие столетия. Для решения крупных исследовательских задач, таких, как, например, создание атомной бомбы, требуется труд огромного коллектива. Одно звено, выполняющее часть программы, может быть совершенно не в курсе того, что делают другие и чему предмет исследований будет в конце концов служить. Тут для тех, кто имеет власть и деньги, и открывается возможность манипулировать учеными, которые даже знать не будут, что они делают.

В некоторые периоды данного столетия мотивом манипуляций была идеология и желание захватить власть над миром. Сегодня таким мотивом чаще всего является прибыль.

Обвинитель:

Спасибо, у меня больше нет вопросов.

Председательствующий:

Прошу защитника задавать вопросы.

Защитник:

Из ваших показаний следует, что из научных кабинетов и лабораторий в XX веке исходило лишь одно зло. Был ли период в истории человечества, когда научные достижения так значительно содействовали уменьшению физических страданий людей, увеличению продолжительности человеческой жизни, как сегодня?

Свидетель Хеллер:

С этой точки зрения, наш век исключителен, и я очень рад, что могу в этом отношении свидетельствовать в его пользу. Хотелось бы только напомнить, что в своих показаниях я не обвинял науку. Наоборот, я ее защищал. Я начал с апофеоза, свидетельствуя о том, что наука — это благо. А медицина, конечно, — та ее часть, которой особенно можно гордиться. Однако я, как свидетель, подтверждаю тезис о том, что XX век использовал науку в дурных целях. К счастью, не все направления науки подвержены злоупотреблениям. Хотя, если присмотреться к истории медицины или современной генной инженерии, то там тоже можно разглядеть множество мотивов, свидетельствующих не в пользу обвиняемого.

Защитник:

Кто из ученых станет символом XX века? Доктор Менгеле или Эйнштейн?

Свидетель Хеллер:

Несомненно, Эйнштейн ...

Защитник:

Свидетель, вы говорили о достижениях науки. Существует ли такой парадокс: чем больше мы узнаём, тем глубже ощущение тайны? Чем больше мы знаем, тем больше алчем абсолюта?

Свидетель Хеллер:

Это зависит от того, кого понимать под "нами". Если вы, господин адвокат, имеете в виду специалистов, элиту — как сказал предыдущий свидетель, — то, безусловно, смирение возросло, ощущение тайны (по крайней мере, можно осмелиться на такое статистическое утверждение) — тоже. Но если мы имеем в виду массы, о которых также говорил предыдущий свидетель, — то, по-моему, нет.

Тут я дополнительно обвинил бы XX век в манипулировании. Сегодня СМИ изображают науку плоско, упрощенно, зачастую карикатурно. Они сводят ее к чисто сенсационным достижениям. А это, несомненно, не способствует росту смирения и ощущения тайны.

Защитник:

Если сравнить конец XIX века и конец XX века ...

Свидетель Хеллер:

Это было бы весьма интересное сравнение, и неизвестно, в чью пользу оно бы обернулось. Во второй половине XIX века физиков, творчески занимающихся своей наукой, было в мире человек пятьсот. Сегодня их десятки тысяч! Поэтому сравнивать чрезвычайно сложно.

Защитник:

Можно ли сказать, что сегодня вера в неограниченную мощь разума снизилась?

Свидетель Хеллер:



У одних — да, у других — нет. Сегодня, в конце столетия, науку смешивают с суеверием. Меня раздражает, когда я вижу в книжном магазине свои книги по астрономии рядом с астрологическими фантазиями.

Защитник:

Я спрашиваю: в среднем...

Свидетель Хеллер:

О средних цифрах следует спрашивать в Институте изучения общественного мнения, а у меня нет доступа к таким данным. Несомненно, у людей глубоко мыслящих наука создает жажду абсолюта, у людей же, мыслящих поверхностно, которых, к сожалению, всегда бывает больше, наука заменяет абсолютом, становится эрзацем абсолюта.

Защитник:

Последний вопрос. Как вы думаете, до конца ли использована мощная, накопленная XX веком энергия, способная нас уничтожить? Нажата ли последняя кнопка?

Свидетель Хеллер:

Если бы это было так, нас бы тут не было...

Защитник:

Спасибо, у меня нет больше вопросов к свидетелю.

Обвинитель:

Вызываю свидетеля Рышарда Капусцинского.

Председательствующий:

Напоминаю свидетелю о его обязанностях.

Обвинитель:

Свидетель, вы путешественник и писатель. Наблюдая преступную деятельность подсудимого в масштабах планеты, вы часто обращали внимание на несправедливое распределение благ, которое допускал подсудимый.

Свидетель Рышард Капусцинский:

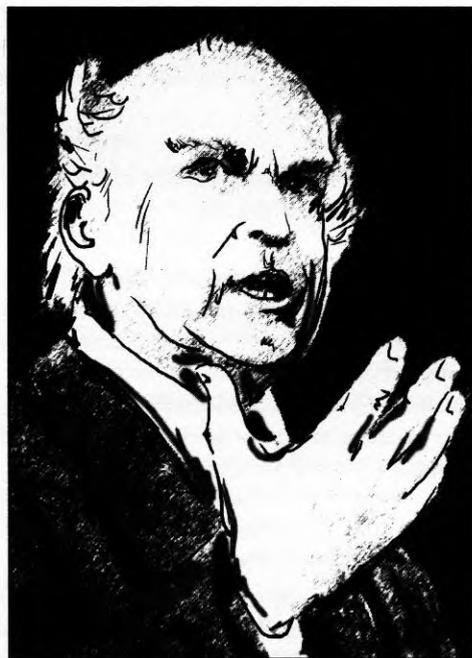
Господин председатель! Если мы представим себе соотношение сил и линий напряжения на нашей планете в форме креста, то во второй половине XX века до недавнего времени доминировало горизонтальное плечо этого креста, то есть отношения Восток — Запад. Соперничали друг с другом две большие концепции и два больших противоборствующих лагеря. По одну сторону был лагерь демократии, а по другую — не вдаваясь в подробности, лагерь диктатуры. Эта линия конфронтации рухнула десять лет тому назад. Но обострилась, приобрела силу и значение совершенно новая линия конфронтации — между Севером и Югом, между бедными и богатыми. Ибо мы живем на планете, на которой бок о бок существуют две цивилизации: цивилизация развития и цивилизация выживания.

Когда человечество вступило в XX век, население планеты составляло полтора миллиарда человек. В течение ста лет это число возросло в четыре раза и сегодня составляет 6 млрд. человек. И эти миллиарды пользуются благами мира сего весьма неравномерно.

Мир — очень несправедливое место. И эта несправедливость постоянно обостряется. Парадокс прогресса в XX веке состоит в том, что чем больше мир развивается,

тем большим становится неравенство в дележе достижений этого развития. Само по себе развитие становится двигателем несправедливости. Доходы тех 20% человечества, у которых зарботки самые

Свидетель
Рышард
Капусцинский





высокие, в 1960 году, то есть примерно в середине нашего столетия, были в 30 раз выше доходов тех 20%, у которых заработки самые низкие, — а сегодня, в конце столетия, они выше в 83 раза. Разница средней продолжительности жизни между человеком, родившимся в развитой и богатой стране, и человеком, родившимся в стране нищей, составляет 25 лет. Любому, кто родился в богатой стране, заранее подарено на 25 лет жизни больше.

Неравенство отражается в любой сфере. Например, медицинские фирмы, находящиеся в руках крупных концернов, главным образом американских, с 1980 г. по сей день выпустили на мировой рынок 1230 новых лекарств. Из них всего 14 наименований предназначены для предотвращения тропических болезней, а ведь тропическими болезнями болеют три четверти человечества.

Сегодня проблемой является не только голод, о котором упомянул в своей речи обвинитель. Сегодня в мире, парадоксальным образом, господствует перепроизводство продовольствия. Продовольствия сегодня в мире столько, что можно было бы прокормить 120% сегодняшнего населения Земли. Проблема — в распределении продовольствия.

Сегодня на Земле живет миллиард людей, не имеющих работы вообще или работающих время от времени. Миллиард людей, которые, собственно говоря, не знают, что с собой делать. Через семь лет в мире будет 700 млн. молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет без всякого будущего, поскольку они родились в трущобах, в деревнях, лишенных пищи и воды. Что делать с 700 миллионами молодых людей, обладающих энергией, волей к жизни, для которых нет места в мире? Никто не в состоянии дать ответ.

Неравенство начинается еще на уровне семьи, где женщины и дети эксплуатируются больше и живут хуже, чем мужчины. Внутреннее развитие отдельных стран протекает также весьма неровно. Есть регионы, эксплуатирующие другие регионы. Юг Бразилии ужасающим образом эксплуатирует свой Север. Есть страны, в которых существует внутренний колониализм, эксплуатация в рамках нации, общины или племени. Это неравенство переходит дальше, на мировой уровень. Такова логика капитала. Инвесторы ищут места, где они могут заработать быстрее всего и больше всего. В результате 82% всего мирового капитала сосредоточено в руках 20% населения планеты.

У бедных нет никаких шансов на выход из этого положения. Мы же все чаще уходим от этой темы, ибо неспособны найти ответ. У нас нет международных учреждений, способных принять этот вызов. Возникла ситуация, которая превосходит и наше воображение, и наши возможности реагировать.

Электронная революция объединила нас в одну человеческую семью. Из глобальных СМИ мы будем узнавать о самой главной проблеме современного мира: богатые становятся все богаче, а бедные — все беднее.

Обвинитель:

Обвинение внимательно и с пониманием выслушало все, что свидетель хотел нам сказать. Но я хотел бы заострить внимание на нескольких затронутых вами вопросах. Считаете ли вы, что конфликты, о которых шла речь, по своему масштабу и качеству присущи исключительно XX веку?

Свидетель Капусцинский:

Да, они характерны для XX века, причем в различных отношениях. Но сначала я, хоть и являюсь свидетелем обвинения, хочу сказать о величайшем достижении подсудимого, деятельность которого полна парадоксов. Самое большое достижение XX века — ликвидация в мире колониальной зависимости. При сравнении двух карт мира: начала и конца XX века мы увидим на первой всего несколько независимых стран, остальное — это мир порабощенный и зависимый. В конце нашего века мы увидим карту, где практически весь мир свободен. Конечно, существуют разные формы порабощения, разные формы зависимости, но формально, с легальной точки зрения, впервые в своей истории все человечество в целом стало субъектом истории.

Обвинитель:

Стало ли оно благодаря этому счастливее?

Свидетель Капусцинский:

Не все стали счастливее, но появились шансы, доселе неведомые. Принципиальная ошибка и огромное недоразумение заключались в том, что до сих пор прогресс оценивался на основе валового национального продукта, то есть подсчитывались сухие показатели экономического роста. Сегодня мы



переходим к совершенно новому способу измерения уровня прогресса в мире. Впервые мы ввели в расчеты гуманистический фактор.

Обвинитель:

Означает ли это, что, пока не вводились эти гуманистические факторы, XX век нес ответственность за создавшееся положение?

Свидетель Капусцинский:

Да, конечно. Считалось, что для утверждений о прогрессе всего общества, о прогрессе ценности человеческой жизни, достаточно построить столько-то фабрик, дорог, зданий. Оказалось, что это не так. Можно строить фабрики, а общество при этом будет жить в нищете.

Обвинитель:

Из ваших показаний следует, что рамки обвинения можно расширить, ибо XX век оставляет нам в наследство не только ужасающую нищету, но и впустую растроченный человеческий капитал. Это верный тезис?

Свидетель Капусцинский:

Тезис верный в таком смысле: вот, вся человеческая семья получила независимость и хотела бы развиваться. Сегодня повсеместно происходит так называемая революция упований — “revolution of expecations”. Ее раздувают СМИ, которые подсовывают нам только образцы потребления. Трагедия в том, что широко популяризируя образцы бурного потребления, СМИ отнюдь не популяризуют образцы труда. Бурное потребление в отрыве от трудовой деятельности. Поэтому люди не понимают, отчего у других есть все, а у них — ничего...

Обвинитель:

Эти механизмы создал XX век?

Свидетель Капусцинский:

Средства массовой информации появились в XX веке.

Обвинитель:

Значит, за создание таких условий, при которых возможна несправедливость, несет ответственность XX век?

Свидетель Капусцинский:

Это результат ошибочного мышления и следствие расхождения интересов. Человечество испытывало нужду на протяжении тысячелетий. Исключения были, но человечество как вид было бедным. Лишь за последние века возник такой многочисленный зажиточный слой. Численность его возросла примерно до 20% всего рода человеческого и на этом остановилась.

Обвинитель:

Человечество в конце XX века стало более несправедливым?

Свидетель Капусцинский:

Более несправедливо разделенным — вот его главная черта.

Обвинитель:

Спасибо, у меня больше нет вопросов. Передаю свидетеля в распоряжение защиты.

Защитник:

Действительно ли мир был когда-либо более справедливым, чем сейчас?

Свидетель Капусцинский:

Масштаб явлений — вот в чем принципиальная разница. В начале XIX века человечество едва насчитывало полмиллиарда человек. Мир и тогда был несправедливым, но иным был масштаб. Нас сегодня поражает размах, поражает тот факт, что нет возможности сделать миллиарду людей прививки против ужасных болезней, которые им угрожают. У нас нет таких технических средств. Мы никогда не оказывались перед лицом сравнимых по размаху явлений, превосходящих не только возможности справедливого распределения, но и наше воображение.

Мы не можем себе представить, как живут в бедных странах. Это иные цивилизации, у которых свой собственный ритм жизни. Они не располагают собственными средствами, которые позволили бы им перейти на сторону “цивилизации созидания”. Они остаются в “цивилизации выживания”, моно-



тонной, точно такой же, как сотни лет тому назад. Недавно в Уганде я жил в хижине, где кухню составляли просто-напросто три камня. Я потом задумался: откуда же я заранее знал, что это именно кухня? А знал я это из учебника археологии, в котором были показаны раскопки в тех местах, где люди жили пять или десять тысяч лет тому назад. Попробуйте представить себе жизнь людей в мире, в котором ничего не изменилось за пять или десять тысяч лет. Вырвать их из этого состояния — вот величайший вызов, брошенный человечеству, всем нам.

Защитник:

Разве само то, что мы осознаём эти беды, не вытекает из благодеяний XX века?

Свидетель Капусцинский:

XX век — век противоречий, классический пример ситуации, при которой добро порождает зло, а зло порождает добро. Это один из важнейших моментов опыта XX века: мы знаем, что добра от зла не отделить.

Были найдены лекарства от болезней, от которых раньше умирали в массовом порядке. Антибиотики, прививки от полиомиелита, холеры и т.п. Это тоже достижения XX века. Люди живут. Как живут, так и живут, — но живут.

Защитник:

Правда ли, что члены человеческой семьи в XX веке как никогда близки друг другу?

Свидетель Капусцинский:

И да и нет — вот опять типичное для XX века противоречие. С одной стороны, совершилась революция в средствах связи, которая, с технической точки зрения, привела к сближению очагов человечества. Археологические раскопки, проводившиеся там, где люди жили 20-30 тысяч лет назад, показывают, что человечество состояло из малых групп, человек по 30: именно столько людей могло прокормиться в данной среде. Поскольку планету покрывали непроходимые леса, большинство людей рождались, жили и умирали уверенными, что 30 человек — это и есть весь мир. Так формировалось наше сознание. Электронная революция, свершившаяся в последние годы, во-первых, затронула не всю планету, а во-вторых, вызванное ею сближение довольно поверхностно. Связываясь друг с другом при помощи новой техники, мы обнаруживаем, что, в общем-то, нам нечего друг другу сказать. Нет связи между культурами, и это тоже серьезная проблема, ибо мы обречены жить в многокультурном мире.

Первый контакт культур — контакт неприязненный. Первый человеческий рефлекс в столкновении с чужим всегда враждебен. Если какие-то — например, политические — структуры закрепляют этот рефлекс в форме национализма, он приобретает черты стереотипа.

Недавно я вернулся из Индии. Население Индии превысило миллиард человек. Я ездил по стране высокой культуры и думал: тут никто не слышал о существовании Баха, Моцарта или Данте, тут никто не знает нашей культуры. Мы тоже об их культуре ничего не знаем. Мы живем в многокультурном мире, очень мало зная друг о друге.

Защитник:

Эта дистанция сокращается?

Свидетель Капусцинский:

Ошибка пропаганды, идущей через СМИ, состоит в смешении понятия “Европы” или “развитого мира” с миром в целом. Нам кажется, что все как в рекламе: “Весь мир катается на лыжах “Олимп”!” А фактически на лыжах “Олимп” катается крохотная доля человечества. Мы говорим: весь мир подключен к Интернету, в то время как доступом к Интернету обладает 2% человечества. Такова действительность.

Защитник:

Можете ли вы припомнить, чтобы когда-либо прилагались такие огромные усилия по оказанию помощи нуждающимся?

Свидетель Капусцинский:

Эти усилия скорее снижаются, чем возрастают, и сегодня это уже остаточная форма. В 60-е годы, когда шел процесс деколонизации, ООН приняла резолюцию, согласно которой развитые страны были обязаны выделять один процент валового национального дохода на помощь странам Третьего мира.



Сегодня, спустя почти 40 лет, даже в тех странах, которые жертвуют больше всего, этот вклад едва составляет 0,17%.

Защитник:

Таким образом, мы сознаём, что существуют диспропорции в богатстве и бедности, обжорстве и голоде. Однако разве не является достижением невероятный технический и экономический прогресс, достигнутый хотя бы частью человечества? Если бы не он, то разве бы мы сегодня задавались вопросами о шансах для бедных вообще?

Свидетель Капустинский:

Нет институтов, нет механизмов справедливого распределения земных благ. ООН этой роли не выполняет. Есть много примеров индивидуального самопожертвования: существуют “Врачи без границ”, другие гуманитарные и неправительственные организации, но их деятельность и возможности охватывают лишь малую часть потребностей. Надо также помнить, что у помощи два аспекта: людям временно помогают, но, так как международная помощь доставляется только в города, туда уходят люди из сельской местности. На окраинах городов возникают гигантские лагеря беженцев, которые живут уже только за счет этой помощи. Они больше никогда не вернутся к себе домой. Покинутых ими деревень уже нет, канализационные системы завалены, скот пал... Вдобавок чаще всего на этих территориях идет та или иная гражданская война. Беженство становится для этих людей единственной доступной формой жизни. Когда помощь прекратится, они погибнут. А это случается часто.

Защитник:

Однако могут ли технические и экономические достижения XX века способствовать уменьшению страданий?

Свидетель Капустинский:

Должны. Но структура распределения богатств такова, что очень сложно что-либо радикально изменить.

Защитник:

Благодарю. У меня вопросов больше нет.

Обвинитель:

Вызываю свидетелем Анджея Вайду, режиссера.

Свидетель Анджей Вайда:

Надеюсь, господин председатель, вы не потребуете от меня, простого кинорежиссера, говорить правду и только правду. А то у меня и моих великих предшественников: Свифта, Гоголя и других — не останется работы.

Хотя я свидетель обвинения, но попробую защитить век, в котором я жил. Несмотря на все представленные здесь обвинения и свидетелями преступления и бедствия, которые принес с собой XX век, я должен признаться, что жил в мире людей, которые как свидетели этого века сумели достойно устоять перед его испытаниями. Если перед нами сидит Марек Эдельман, давший отпор всему ужасу, через который ему пришлось пройти, если Рышард Капустинский сумел так пронизательно поставить диагноз болезням XX века, то, думаю, XX век был прожит не зря.

Я думаю, что и прежде бывали великие бедствия. Когда я был начинающим режиссером, у меня открылась язва двенадцатиперстной кишки, и я гордился этим, ибо мне сказали, что это болезнь мыслителей. Позже я узнал, что бушманы тоже страдают язвой, так как постоянно живут в стрессе. Я боялся, что зрители не придут в кинотеатр, а они боятся, что какая-нибудь обезьяна прыгнет им на спину. Так какая

Свидетель
Анджей Вайда





разница? Болезнь одна и та же. Думаю, что многие бедствия, многие драмы и трагедии XX века были известны и прежде. А родился я рабом в древнем Риме, разве у меня было бы больше возможностей, чем в XX веке?

XX век, при всех своих бедствиях, открыл перед нами огромные возможности. У меня, вероятно, поверхностное образование, но я помню утверждение, что сила действия равна силе противодействия. Если сила действия в XX веке была такой, какой ее представили обвинение и свидетели, то и сила противодействия, должно быть, чего-то стоит. Марек Эдельман, Барбара Скарга, Рышард Капустинский пытаются не только понять мир, но и противостоять ему.

Здесь говорилось, что публика, приходящая в кинотеатр, представляет собой массу, которой легко управлять, но если это так, то именно потому, что герои кинофильмов — выдающиеся личности. Видимо, у массы существует искренняя жажда исключительности. Может быть, не следует требовать большего во времена, когда все друг о друге всё знают. Возможно, как только что сказал Рышард Капустинский, нам бывает нечего сказать друг другу, но прежде даже и такой связи — а, значит, и шансов договориться — не было.

Я думаю, что наш век, несмотря на все его преступления, ложь и обман, все же позволил нам многое понять. Поэтому у меня есть ощущение, что мы вступаем в XXI век с надеждой.

Обвинитель:

Это очень интересно, но встает вопрос: не возникали ли все достижения человечества в XX веке в противостоянии с теми испытаниями, которым он нас подверг?

Свидетель Вайда:

Одно с другим связано. Бедствия и трагедии высвобождали силу в художниках, ученых, которые пытались им противостоять.

Обвинитель:

Вера в искусство — это прекрасно. Но ведь выдающиеся представители искусства часто служили аппарату власти, а прекрасные формальные достижения служили развращению людей. Каково ваше мнение по этому вопросу?

Свидетель Вайда:

Это правда. Конечно, многие художники сделали свой выбор, став на сторону зла, но попробуем посмотреть на них как на людей, которые верили, что мир должен становиться лучше... Из XX века мы вынесли убеждение, что технический прогресс будет приближать нас к свободе, что средства связи освободят нас от предрассудков. Я это убеждение вынес из школы, из церкви, из своей семьи. Слушая Рышарда Капустинского, я задумался: откуда я знаю все эти диагнозы? Где меня этому уже учили? А это было на уроках марксизма. Мы верили, что найдутся способы излечить мир. Так что если я отношусь к наступающему веку с некоторым пессимизмом, то только потому, что, к сожалению, некоторые вещи мы уже испробовали и знаем, что они не могут быть успешными.

Обвинитель:

Вы хотите сказать, что XX век — печальный век, столетие проведенных в жизнь и тем самым загубленных надежд?

Защитник:

Протестую!

Председательствующий:

Это был не вопрос, а подсказка. Прошу вас иначе сформулировать вопрос.

Обвинитель:

Свидетель, считаете ли вы, что XX век был веком загубленных надежд?

Свидетель Вайда:

Нет, с этим я не могу согласиться.

Председательствующий:

На судебном языке в такой ситуации говорится, что обвинитель добился ответа.



Свидетель Вайда:

Мне не хотелось бы, чтобы в данном случае прав оказался обвинитель. Потому что очень многие сознательные люди, а я думаю, что именно о них тут главным образом идет речь, трудились над тем, чтобы человечество избежало тех бедствий, которые на нас обрушились. А раз такое случилось, видимо, была в этом какая-то необходимость. Эйзенштейна, создававшего фильмы для Сталина, и других, снимавших фильмы в то время, отнюдь не обязательно считать виновными в преступлениях сталинизма. Я думаю, многие из них верили, что этого можно избежать. Сегодня все стали очень осторожными. Сегодня никто ни в чем не хочет участвовать, поскольку мы обожглись на коммунизме или на гитлеризме.

Обвинитель:

Вы сказали, что сознательные люди, тем не менее, подчинились исторической необходимости. Значит ли это, что они отказались от свободы? Существует ли какой-то разрыв между свободой и осознанностью?

Свидетель Вайда:

Нет. Но они думали, что свобода — это осознанная необходимость.

Обвинитель:

Выходит, вы согласны с тем, что эти мыслящие люди были “уязвлены Гегелем”?

Свидетель Вайда:

Я никогда не читал Гегеля, но тоже был уязвлен.

Обвинитель:

Может ли быть великим дело, которое приводит к массовому уничтожению?

Свидетель Вайда:

Наверное, нет. Не следует защищать тех, кто принимал участие в преступлении, но я думаю, что все-таки нужна снисходительность кое к кому из живших в те времена. Тотальное осуждение заведет нас, к сожалению, не в ту сторону.

Обвинитель:

Я так понял — поправьте меня, если я понял неверно, — что вы разделяете мнение, будто следует проявить снисходительность к людям как личностям, отделяя их от системы? Верно?

Свидетель Вайда:

Я так думаю.

Обвинитель:

А предмет обвинения, то есть деятельность XX века, — ближе к тому, что мы называем системой?

Свидетель Вайда:

Это верно, поэтому я восхищаюсь всеми, кто в этот трудный век пытался противостоять злу, даже если не отказывался от участия в том, что пробуждало в них пусть иллюзорную, но все-таки надежду.

Обвинитель:

Спасибо, у меня больше нет вопросов.

Защитник:

У меня совсем немного вопросов к свидетелю. Спасибо за прекрасное выступление. Я хотел бы только задать вопрос, касающийся области, в которой так прекрасно работает свидетель. Сто лет XX века — это и сто лет кино. Считаете ли вы, что те выразительные средства, которые выработал кинематограф, дают нам возможность лучше узнать друг друга и познать действительность?

Свидетель Вайда:

Безусловно. Хотя свидетель Рышард Капустинский объяснил мне, что это касается только небольшой группы, примерно 20% человечества. Но я не знаю, можем ли мы, кинематографисты, взять на себя ответственность за то, что наше искусство не выходит за рамки этих 20%.

Защитник:

Большое спасибо, у меня больше нет вопросов.



Председательствующий:

Благодарю вас. Обвинение представило всех своих свидетелей. Прошу вас, господин адвокат, пригласить свидетелей защиты.

Защитник:

Вызываю свидетеля защиты Марека Эдельмана, врача.

Свидетель Марек Эдельман:

Беспощадность, которую проявил здесь прокурор, якобы должна доказывать, что не только мир ужасен и XX век ужасен, но и неизвестно, долго ли выдержат те, кто живет ныне. Мы, кстати, тоже! Прошу заметить: судебное заседание длится уже три часа! Поэтому буду краток.

Картина, нарисованная прокурором и свидетелями обвинения, — чистый апокалипсис. Полагаю, что эта картина тенденциозна и фальшива. Да, был фашизм, был коммунизм, убиты миллионы людей — но кто все это сделал, господа? Это сделали люди! Ни польские гебешники, ни энкаведешники с неба не свалились, ни Господь Бог, ни дьявол их сюда не посылали!

Что значит строй? Что значит система? Систему и строй создают люди! Обвинитель говорит, что система убивает человека, но я напомним, что сперва другой человек создал систему. Вот в чем ошибка обвинения! Неправда, будто человек ни в чем не виноват, а система, которая с неба упала, взяла людей за шиворот, и они отдали себя на закланье. Все это сотворили люди! Так отвечал Блюм, когда кто-то сказал ему, что концлагеря создали немцы. Он возразил: “Нет, это уготовал человек человеку”. То же и с коммунизмом. Я бы очень просил не делать из человека неженку, младенчика, который охотнее всего полеживал бы себе в конверте для новорожденных.

Надо помнить и о том, что этот век, помимо гитлеризма, фашизма, коммунизма и чудовишной гекатомбы трупов, которую он сам допустил, имел также иное обличье. Кто из вас, господа, помнит о Ганди? С него начались — в XX веке! — права человека. И вот вам — миллиардная страна с демократическим правлением! Там больше нет голода, хотя в XIX веке в Индии умирали от недоедания. А Америка? Было рабство, ку-клукс-клан, убивали негров. В XX веке Трумэн посадил негрятенка в автомобиль, приставил двух солдат для охраны, и это было начало конца сегрегации!

А Южная Африка? Я был там! В Кейптауне — в Йоханнесбурге этого пока еще нет, — но в Кейптауне белые парни и чернокожие девушки целуются у всех на глазах! Разве это не перемена? Разве это не прогресс? Разве это поражение XX века?

Тут кто-то плохо отзывался о медицине. Но почему в Индии живет столько людей? Да потому что международные организации привезли вакцину против оспы. А во сколько раз уменьшилась заболеваемость проказой в Африке? Так что я вас умоляю: без апокалипсиса!

После войны родилась организация, над которой все смеются, — она называется ООН. Ничего она поделать не может, но в 1946 г. принимает Всеобщую декларацию прав человека. Годами у нее ничего не выходит. Можно убивать, потому что ООН все равно ничего не сделает. Вот люди друг друга и убивают.

(Тут я вам еще раз напомним, что человек — дурное учреждение. Господь Бог сотворил его прескверно, дал ему слишком мало серого вещества — в этой коробке всего шесть миллиардов клеток, и потому человек так плох. К счастью, места там много, так что, быть может, следующая мутация окажется более удачной.)



Свидетель
Марек
Эдельман



Но вдруг что-то изменилось. Милошевич, как многие до него, убивал албанцев, пока не пришли войска — американские, польские, и они не позволяют убивать. Фашизм понимает только силу, и иногда, в защиту человека, надо ему эту силу показать. Вы тут же воскликнете: а почему этого не сделают в Чечне? Но что именно надо сделать? Сбросить атомную бомбу на Россию? Увы, не всех еще можно защитить.

Мир не устремится вперед и выше, потому что история идет зигзагами. Будет то немного лучше, то немного хуже, как со всякой болезнью. Сразу не вылечишься: немного вверх, немного вниз, а в конце — либо так, либо так.

Но вы должны помнить, что то, каков мир, на 90 процентов зависит не от господина Гитлера и не от господина Сталина, а от каждого гражданина. Потому что даже если в Ленинграде не было хлеба, это еще не повод, чтобы тысячи людей из Красной армии шли и убивали людей на Украине. И все же агрессия — фундаментальная черта всякого человека. Прошу об этом помнить. Это генетически врожденная, атавистическая черта. И очень трудно ее уничтожить — что в XIX, что в XX, что в XXI веке.

Но то, что произошло в Косово, на Тиморе, в Руанде, когда французы приехали спасать уничтожаемых тутси, — это наше будущее, хотя наступит оно не вдруг. Однако таков будет XXI век: социальный, человеческий. Вот все, что я хотел сказать.

На вопросы отвечать отказываюсь.

Председательствующий:

В данном случае суд не станет накладывать штраф. Благодарю вас, свидетель.

Защитник:

Вызываю свидетеля защиты Антония Либера, писателя. Свидетель, как бы вы определили психическое состояние обвиняемого?

Свидетель Антоний Либера:

Господин председатель, с точки зрения отдельного человека, или лучше — человеческой личности, достижения обвиняемого XX века предстают в не слишком выгодном свете. В XX веке преобладает дело разрушения. У немногочисленных благодетелей, таких, как прогресс в медицине или электрификация, облегчающая жизнь, всегда есть обратная сторона. Эти благодетели не уравновешивают зла, накопившегося на счету века. Число и масштаб преступлений, насилия, страданий и бед, причиненных человечеству, неизмеримо больше, а стало быть, все склоняет нас к тому, чтобы сказать: виновен.

Но, если мы говорим “виновен” и намереваемся осудить, если в идеях, поступках и деяниях обвиняемого мы видим больше зла, следует поставить вопрос о его вменяемости. Сознал ли он по крайней мере, что он делает и что с ним происходит? Я ходатайствую о том, чтобы, если удастся дать утвердительный ответ на этот вопрос, признать его существенно смягчающим обстоятельством, хотя, на первый взгляд, это похоже на парадокс. Но подумаем: что в человеке мы привыкли ценить выше? Слепую волю, природу, инстинкты и влечения — или самопознание, культуру, сознание греха и запрета? Если второе — то нам будет ближе даже величайший злодей, все-таки знающий, что есть законы и нормы и что некоторые вещи как таковые дурны, нежели неопасный, по крайней мере пока, субъект, который понятия не имеет ни о каких правилах и вообще живет в мире вне добра и зла.

В чем же в данном случае выражается такое сознание? Где искать его проявления? Что о нем свидетельствует? В случае обвиняемого такая область — искусство. Особенно словесность в широком смысле слова. Во вдохновенных произведениях словесности, независимо от их рода, будь то стихи, проза или все виды публицистики, человек множеством способов и на разных уровнях живописует себя, создавая свой автопортрет. Он пытается уловить, кто же он такой на данном этапе развития, явить истину о себе. Так было с начала нашей цивилизации. И именно такую роль выполняют величайшие произведения, возникшие на Земле. Человек исповедуется в них, каким он видит себя на фоне земли и звезд.

Обвиняемый и тут нагрешил невероятно. Его величайшие прегрешения: массовая культура, коммерциализация искусства, заключение пакта с мамонной, льготные тарифы. Ни один из его предшественников не породил столько безвкусицы, столько шарлатанских бредней и бессвязного лепета, ни один до такой степени не расшатал критериев оценки и не разрушил иерархий. И тем не менее в этой горе



кича и бездумно-радостного творчества, в этих Гималаях бумаги, которую он испещрил типографскими литерами, можно отыскать вещи не просто ценные, но и под стать давним шедеврам.

То, что кажется мне особенно ценным и замечательным, то, что выполняет роль той самой совести или сердца, нашло выражение в творчестве по крайней мере пяти певцов. Быть может, именно у них полнее всего. Первый и старший среди них — это гигант, Томас Манн, в данном контексте — автор по меньшей мере трех произведений: романов “Волшебная гора”, “Иосиф и его братья” и, наконец, “Доктор Фаустус”. Затем некто совершенно иной, причем во всех отношениях: талантом, личностью и жизненными позициями, — снедаемый болезнью Франц Кафка, автор “Процесса” и “Замка”. Затем Томас Стернз Элиот, метафизический поэт, автор, в частности, таких поэм, как знаменитая “Бесплодная земля” и “Полые люди”. Далее — гениальный Джеймс Джойс, визионер и реалист, мученик памяти и стиля, мастер слова и художник с абсолютным слухом, автор великого романа “Улисс”. И, наконец, младший среди них и в то же время, быть может, последний из рода титанов — то есть максималистов, понимающих творчество как исполнение миссии, назначенной судьбою, — писатель тихий и скромный, сторонящийся мирской суеты, сосредоточенный исключительно на выражении того, что говорит ему внутренний голос, молчаливый Сэмюэл Беккет, автор по крайней мере двух пьес, имеющих символическое значение: “В ожидании Годо” и “Конец игры”.

Что объединяет этих пятерых певцов? Почему именно они? Каков общий знаменатель названных здесь произведений? Во-первых, все они наследуют великим мифам человечества: иудео-христианским, греческим, западноевропейским, — а при этом (и в то же время в силу этого) поднимают вопросы первостепенной важности, обращаются к вещам безусловно основополагающим, таким, как начало начал человека и его предназначение, смысл человеческой истории, суть существования, наконец, трансцендентность и идея спасения. Во-вторых, похоже, все они ощущают, что находятся в конце пути, перед некоей гранью, что нечто исчерпано и в эстетическом смысле возможна только пародия. Пародия, а значит, возвращение на почву обыденности, словно спуск к исходной точке с высот архетипов. В лучшем случае это замыкается круг, хотя и нет перспективы разомкнуть его заново. Этот отчетливый апокалиптический тон всем им присущ. Наконец, в-третьих, все они сходным образом толкуют причины такого положения вещей. Похоже, что истоки кризиса культуры и взрыва хаоса они усматривают в эмансипации разума, в медленном, но последовательном отходе от священного, в увлечении природой и непреодолимом желании разгадать ее тайны. При этом они не судят, ошибочно это было или нет и был ли вообще какой-то выбор. Они констатируют, что так случилось, констатируют, каковы последствия этого. В их произведениях слышен плач и издевательский смех, кощунство смешано с воплем о милосердии.

Стоит добавить, что есть и польские писатели, чьи мысли вращались в кругу этих идей, чьи произведения отмечены подобными интуитивными прозрениями. Назову хотя бы троих, наиболее ярких, и соответствующие произведения. Станислав Игнаций Виткевич — в нескольких своих драмах, а главным образом в романах “Ненасытимость” и “Прощание с осенью”. Витольд Гомбрович — в “Дневнике”, особенно в его критике сферы современности и памятном позднем эссе “Чем умнее, тем глупее”. И, наконец, Чеслав Милош — в очень многих произведениях, в катастрофических стихах, написанных еще до войны, в “Метафизической паузе”, “Моральном трактате”, а прежде всего в “Земле Ульро”, итоге его философских размышлений. Подведем итог.

Ясная доминанта наиболее выдающихся произведений самых замечательных певцов XX столетия — это убежденность в том, что человек деградирует. Некогда он был героем, как Одиссей или Иосиф, позднее — рыцарем или королем, как Парсифаль, Роланд, Артур, как Макбет, Ричард и Лир, потом — ученым врачом или гениальным художником, как Фауст. Теперь же он — отребье, подсудимый, подобный К., полый человек на беспредельной бесплодной земле или бродяга, калека, словно персонажи Беккета.

Цивилизация растет, человеческое существо мельчает. Дела рук людских возносятся все выше и стоят неколебимо, а сам человек распростерт в упадке. Следовательно, нельзя сказать, что обвиняемый не сознавал, что с ним происходило, кем он был или, точнее, кем становился. Напротив, отчетливо видно, что он ясно сознавал свое положение и оценивал свои действия. Можно даже сказать, что идея



суда, который мы сегодня проводим, исходит от него самого. Сегодня он сам себя обвиняет и сам себя судит. Как я сказал вначале, такого рода акт составляет существенно смягчающее обстоятельство. Было бы гораздо хуже, если бы такого самосознания не было. Но что же из него следует? Что обвиняемый, зная, что движется в порочном направлении, не имел силы воли остановиться? Что, короче говоря, он согрешил по слабости характера? Или, может, он все-таки больше не мог, и свернуть с ошибочно избранной дороги было выше его сил? Быть может, он уже вообще ни на что не мог повлиять? Возможно, он был — точнее, до сих пор остается — отягощен дурной наследственностью? Может быть, его деяния и их последствия были неизбежны, как неотвратимый результат прежней порчи, произошедшей неведь как давно, чуть ли не у самых истоков. А стало быть, его судьба была предначертана заранее. Этого нельзя доказать, но нельзя и исключить.

Можно лишь констатировать, что обвиняемый в душе не примирился с самим собой, а сердце его кровоточит. Он не принимает сам себя, но не способен измениться. А не изменяясь в эволюционных масштабах, он превращается в того, кем вовсе быть не хочет, кто его даже ужасает: обвиняемый видит в этом надругательство над своей сущностью, над тем, с чем он себя отождествлял в течение столетий. Ситуация незавидная. Скорее достойная сострадания. Скажем прямо: какой бы суровый приговор ни был вынесен на этом процессе, он не изменит хода вещей.

Председательствующий:

Господин адвокат, свидетель к вашим услугам.

Защитник:

Я хочу спросить об одном вполне конкретном случае из истории XX века. Николае Чаушеску, располагавший огромным аппаратом террора, однажды издал приказ о регистрации пишущих машинок и множительных аппаратов, наподобие того, как регистрируют оружие. Почему?

Свидетель Либера:

Полагаю, он боялся голосов вроде тех, о которых я упоминал, боялся обвинений, произносимых той совестью человечества, какой иногда бывает литература.

Защитник:

Чем в XX веке была цензура?

Свидетель Либера:

Запретом голоса совести.

Защитник:

Спасибо, у меня вопросов нет.

Обвинитель:

Свидетель, если я вас правильно понял, ваши показания подтверждают, что происходящий здесь суд правомочен.

Свидетель Либера:

Суд правомочен, но в то же время он складывается в пользу обвиняемого.

Обвинитель:

Но ведь картина, показанная литературой, на которую вы ссылаетесь, далеко не та, что в литературе предшествующих веков.

Свидетель Либера:

Разница в том, что диагноз положения, в котором оказался человек, необычайно пессимистичен. Литература бьет в набат.

Обвинитель:

Человек XX века...

Свидетель Либера:

...сам себя видит именно так. Это значит, что существует судьба, над которой он не властен.

Обвинитель:

Таким образом, свидетель, вы хотите снять с XX века большую часть ответственности, возлагая ее на судьбу, на роковую неизбежность. Но в этом зале уже звучали слова о том, что такую судьбу человеку уготовал человек...



Свидетель Либера:

Да. Я согласен с этим утверждением, поскольку в известном смысле, хотя и другими словами, говорю нечто очень похожее.

Обвинитель:

Не вполне. Если я вас правильно понял, вы сказали, что сердце XX века кровоточит. Если же эту судьбу человеку уготовал человек, то один ранит сердце другого. Согласны ли вы с выводом, что человек наносит раны человеку?

Свидетель Либера:

Но что значит, что человек человеку...

Обвинитель:

Стрелял в затылок!

Свидетель Либера:

Вопрос мне понятен, но все дело в том, как мы определим обвиняемого. Я хотел бы рассматривать человечество как единое существо. И тогда единое существо учиняет над собой насилие. Когда один человек стреляет другому в затылок, насилию подвергает себя человечество.

Обвинитель:

То есть все мы вкупе — век самоубийц?

Свидетель Либера:

В известном смысле да...

Обвинитель:

Спасибо, больше у меня вопросов нет.

Председательствующий:

Благодарю вас, свидетель. Судебное следствие завершено. Суд благодарит всех свидетелей за их вклад в выяснение вины XX века.

Есть ли еще какие-либо ходатайства по вещественным доказательствам?

Защитник:

Да, господин председатель. Защита хотела бы включить в число вещественных доказательств пакет документов. Среди них: учредительный договор Европейского союза, Декларация прав жертвы, Конвенция защиты прав человека и основополагающих свобод, сан-францисская Хартия ООН, устав Совета Европы, Конвенция о специальных миссиях, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская социальная хартия, Конвенция о мирном разрешении международных споров, устав Международного суда, Всеобщая декларация прав человека, энциклики "Evangelium vitae", "Veritatis splendor", "Fides et ratio", письмо свидетеля Марекса Эдельмана Биллу Клинтону и, наконец, молитва Иоанна Павла II у иерусалимской стены.

Вот перечисленные документы. Прошу включить их в дело.

Председательствующий:

Прошу обвинение высказаться по данному ходатайству.

Обвинитель:

Ходатайство весьма интересно: представленное собрание документов может свидетельствовать как о доброй воле авторов, так и об их беспомощности. Ибо документы эти — попытка ответить на ужасающий вызов, брошенный XX веком, на пролитое им море крови. Их составляли люди доброй воли. По моему убеждению, эти документы не имеют доказательственной силы по разбираемому делу, и обвинение не станет занимать по отношению к ним никакой позиции. Можно включить их в дело, можно и не включать...

Председательствующий:

Трибунал включает эти документы в дело. Предоставляю обвинителю заключительное слово.

Обвинитель:

Работа, выполненная в ходе этого процесса, потребовала большого труда не только от свидетелей, не только от судей и присяжных, но и от публики. После четырех часов заседания я хотел бы кратко подвести итоги тому, что мы услышали.



Установлено, что невозможно оценить количество жертв обвиняемого. Эти числа превосходят наше воображение. Мы спрашиваем: сто или двести миллионов убитых? Но и смерть одного человека — уже невообразимая трагедия. Эти числа, выходящие за пределы восприятия, — одно из доказательств того, как сильно потерял себя человек в XX веке, ведь он даже не в состоянии оценить масштаб содеянного зла.

Мы установили, что в области перемен в духовной и психической сфере анонимность личностей приводит к разрушению ответственности. Установлено, что в области науки, с одной стороны, в XX веке имело место покушение на логику и научную истину, то есть попытка разрушить изнутри этику науки, с другой — попытка запрячь научные достижения в процессы уничтожения и преступлений. Эта связь доказана вне всякого сомнения.

Установлено, что мир погряз в конфликтах, раздирающих весь земной шар. Человечество, наделенное благословенными материальными благами, не умеет по справедливости делить их между сотнями миллионов нуждающихся. Виновником этой ситуации, из которой, кажется, нет никакого выхода, является именно обвиняемый XX век.

Здесь говорили об ответственности структур. Один из свидетелей обратил внимание на то, что ответственны только люди. Да, это очень важное замечание. Однако не будем забывать, что человеческой агрессией можно манипулировать. В человеке скрыты две могучие силы: одна склонна к созиданию, другая — к агрессии. В XX веке возникли структуры, побуждавшие руководствоваться агрессией. Тогда агрессия — уже не просто сумма единичных фактов агрессии, но демоническая сила.

Мы установили также, что искусство XX века демонстрирует пейзаж бесплодной земли, населенной полыми людьми, и в то же время предъявляет великое обвинение этому веку.

Дамы и господа присяжные заседатели, на вас лежит большая ответственность. Без ложного пафоса решаюсь заявить, что в эти минуты вы становитесь совестью мира. От вашего решения зависит очень многое, быть может, даже судьба будущих поколений. Я призываю признать подсудимого виновным.

Председательствующий:

Благодарю обвинителя. Господин адвокат, вам слово.

Защитник:

Я в сложном положении. В зале столько свидетелей, столько умных людей, умудренных опытом XX века. Я хотел бы говорить с точки зрения обычного человеческого опыта, который прежде всего характеризуется надеждой. Охотнее всего я снял бы тогу и сел рядом с вами, достопочтенные присяжные заседатели.

Ваш приговор должен быть приговором надежды. В нем должно содержаться доверие. Ваш приговор должен подтвердить несомненный факт: победу и мужество XX века! Мужество в борьбе с жестокостью, с вампирами, которых — что и говорить — выпустил на свободу поджигатель. Не подлежит сомнению, что, когда на заре XX века Джозеф Конрад писал “Сердце тьмы”, он в своей гениальности предчувствовал зловещую атмосферу, разглядел поджигателя — ницшеанскую волю к власти, зловещую фигуру сверхчеловека. Все это было описано и в “Бесах” Достоевского. Достоевский говорил категорически: все будет зависеть от XX века. Мы отвечаем ему: XX век одолел вампиров, которые вторглись из XIX-го!

Под звуки вагнеровской музыки на арену истории вышел сверхчеловек. И великое мужество людей планеты Земля привело к тому, что, несмотря на все увечья, о которых говорил свидетель Рышард Капустинский, никогда еще за всю новейшую историю у человечества не было такой надежды и такого множества планов на будущее.

Случаются преступления, подчас тоталитаризм стучится в дверь, но человечество впервые в истории написало общие законы. Этот кодекс начинается с констатации того, что в основе всех прав и обязанностей лежит человеческое достоинство, что человек трансцендентен, что он имеет право на счастье, на свободу. Всегда ли это удастся? Конечно, нет, но направление намечено.

Я спросил свидетеля Михала Хеллера о той последней кнопке, которую все-таки не нажали. Но история науки в XX веке научила нас и еще кое-чему. Когда в 60-е годы я ходил в школу, властвовало



всеобщее промывание мозгов. Нам внушали, что небеса пусты, а мы уже скоро все познаем и построим рай на земле. Сегодня мои дети ни с чем таким не сталкиваются, поскольку благодаря науке, которая в XX веке пошла так далеко, мы знаем, что никогда не ответим на последний вопрос. И это огромный успех, заставляющий нас посмотреть на самих себя со стороны. Вид Земли с Луны — тоже достижение XX века и одновременно лапидарный образ того, что мы называем “глобализацией”, но в позитивном смысле слова. С такой перспективы видно, что Земля — хрупкая скорлупка, одинокий Ноев ковчег. Зная, что жизнь — лишь мгновение, чудесный дар, мы проникаемся смирением по отношению к миру, в котором мы функционируем. Вот чему научил нас XX век.

Дамы и господа присяжные заседатели! Как могли бы вы вынести обвинительный приговор? Значит, жертвы, отважные люди, герои — все они проиграли? Простите, что я так скажу, но “*audiatur et altera pars*”, мы ведь в зале суда, перед составом суда, — не содержится ли в такой точке зрения, как у прокурора, некое кощунство? Не замечать зла — великая провинность! Но не замечать добра — кощунство! Не замечать победы — кощунство! Победа, то есть “*sarax Dei*”, — ответ, данный Господу Богу человечеством на исходе XX века. Победа! Победа, а значит — оправдание!

Можем ли мы выступать свидетелями по собственному делу? Думаю, нет, но мы должны дать свидетельство истине. Поддержать надежду, с которой необходимо войти в XXI век. Увидеть, что из титанической борьбы со злом мы вышли победителями.

Я захватил сюда маленькую, неброскую книжицу с предисловием здешнего епископа, написанную отцом профессором Юзефом Тишнером. Название — “Дороги и бездорожья милосердия”. Позволю себе прочесть из нее фрагмент: “У Робеспьера милосердие выражается в безграничном терроре”. Да, у робеспьеров XX века милосердие выражалось в безграничном терроре! “У сестры Фаустины милосердие выражается в безграничном прощении”. Не случайно ли в мышлении обвинителя проявляется сильная предвзятость, а не оценка всего хода и финала XX века — такого, каким он был в действительности? Кто из действующих лиц драматической истории XX века ближе к истине о милосердии — и добавлю: к истине о любви, — кто из них победил в XX веке? Куда был послан человек, стоящий посередине, между атавизмом и Господом Богом? Куда он был послан? В сегодняшний день! Сюда! В Краков! В 1 апреля 2000 года! Ибо это наше время и место.

Куда, господа и дамы присяжные заседатели, пошлете вы человека? Правда ли, что XX век победил? А он действительно победил! Предлагаю вынести обвиняемому оправдательный приговор.

Председательствующий:

Обвинитель имеет право на реплику.

Защитник:

Прошу прощения, господин председатель, я хотел бы представить еще один документ. Вот экземпляр “Тыгодника повшехного” — последнее доказательство защиты.

Председательствующий:

Это доказательство хорошо известно суду. Нет надобности представлять его. Пожалуйста, обвинитель...

Обвинитель:

В противоположность защите, я не анализировал эмоционального состояния моего замечательного противника, и потому трудно заподозрить меня в том, что мною руководила некая предвзятость.

Я руководствовался правдой, и только правдой. Во имя жертв я хочу напомнить о правде. Ибо прощение существует для тех, кто покался. Для тех же, кто раскаяния не проявил и продолжает гордо упорствовать в ошибках, прощения нет. Условие прощения — не знаю, помнит ли еще об этом господин адвокат, — раскаяние в грехах. А также твердая решимость исправиться и откровенная исповедь.



Священник
Адам
Бонецкий



Этот суд был исповедью, но, боюсь, не исповедью тех, кто должен каяться.

Защитник:

Господин председатель, дамы и господа присяжные заседатели, я отвечу кратко, в продолжение показаний свидетеля Либеры. В творчестве замечательной Симоны Вейль, в этом великом свидетельстве XX века, есть такая — к сведению обвинителя — фраза об истине: “Истина — там, где добро встречается с разумом”. Но добро должно быть! Добро победило в XX веке! И это — правда!

Обвинитель:

А добро — процитирую ту же Симону Вейль — это то, что возвышается над личным интересом. Независимо от того, победит здесь обвинение или защита, я призываю к тому, чтобы восторжествовала истина.

Защитник:

Господин председатель, последнее слово всегда принадлежит защите. Обвинитель говорит о коллективе, говорит о массах. Значит ли это, что обвинитель требует коллективной ответственности? Тут есть противоречие.

Обвинитель:

Нет. Я лишь требую признания вины XX века за его деяния. Благодарю вас.

Председательствующий:

Благодарю обвинение и защиту.

Дамы и господа присяжные заседатели, ход судебного разбирательства и обвинения, предъявленные подсудимому, позволяют мне сформулировать восемь вопросов, которые я адресую вам:

1. Виновен ли подсудимый в последствиях того, что столь легкомысленно доверился разуму?
2. Виновен ли подсудимый в порабощении человека путем подчинения массе, в попытке лишить человека его индивидуальной ценности, чтобы превратить лишь в члена коллектива, народа или класса?
3. Виновен ли подсудимый в сведении демократии к власти большинства, то есть к чистой процедуре, лишенной ориентиров в виде объективных ценностей?
4. Виновен ли подсудимый в падении ценности человеческой жизни?
5. Виновен ли подсудимый в разделении мира на богатый Север и бедный Юг?
6. Виновен ли подсудимый в безответственном использовании научных открытий?
7. Виновен ли подсудимый в лишении человека способности разумно искать смысл жизни?
8. Виновен ли подсудимый в разрыве преемственности памяти, в разрушении культуры и замене ее массовой культурой?

В связи с последним вопросом позволю себе одно уточнение. Прошу, чтобы рассматривая его, вы учли присутствие в нашей жизни тех людей, которые сегодня здесь выступили. Что это — доказательство утраты памяти или надежда на ее сохранение?

Теперь присяжные удалятся на совещание.

(Перерыв)

Судебный пристав:

Прошу занять места. Заседатели вернулись в зал.

Председательствующий:

Господа присяжные заседатели, согласован ли приговор?

Староста присяжных проф. Яцек Клиновский:

Да, господин председатель.

Председательствующий:

Прошу огласить приговор.

Староста присяжных:

Передо мной перечень восьми обвинений, представленных на рассмотрение присяжных заседателей. Мы рассмотрели эти вопросы в свете свидетельских показаний и выступлений защитника и обвинителя и пришли к следующему решению.



На вопрос первый — ответ:

Виновен.

На вопрос второй — ответ:

Виновен.

На вопрос третий — ответ:

Невиновен.

На вопрос четвертый — ответ:

Виновен.

На вопрос пятый — ответ:

Невиновен.

На вопрос шестой — ответ:

Невиновен.

На вопрос седьмой — ответ:

Невиновен.

На вопрос восьмой — ответ:

Невиновен.

Председательствующий:

Благодарю вас, дамы и господа присяжные заседатели.

Ввиду признания подсудимого виновным по трем пунктам, суд приговаривает его к запечатлению в памяти следующих поколений как предупреждение, предостережение и свидетельство того, что человек может причинить человеку.

Заседание закрывается.

БУДЕТ ЛИ АПЕЛЛЯЦИЯ?

“Суд над XX веком” состоялся в первой инстанции и по характеру был приближен к ускоренному судопроизводству. Второй инстанцией наверняка будет уже “Суд не от мира сего”. Я спокоен: это будет суд справедливый, снисходительный и разумный. Приговоры не полагается комментировать. Что уж говорить о приговорах Божиих?

Однако если спуститься на землю и комментировать то, что произошло 1 апреля 2000 года в королевском городе Кракове, я бы сказал, что по сути это был триумф человеческого мужества, если не сказать героизма. Это был триумф надежды, которую свидетель Барбара Скарга назвала — в опубликованной недавно полемике с Густавом Херлингом-Грудзинским — “надеждой героической”. Признание вины даже по одному пункту дает право приговорить подсудимого, но думаю, что суд заметил и оценил именно этот аспект наследия XX века.

Что будет с нами дальше? Это тайна. Однако надо быть настороже: отгонять Прометея от наших пределов и участвовать в тяжком труде Сизифа.



Защитник
Кшиштоф
Песевич
и обвинитель
отец Ян
Анджей
Ключовский

Кшиштоф Песевич

(“Тыгодник повсехны”, Краков, 4 июня 2000)

TYGODNIK POWSZECHNY



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

* 6 июня, после того как “Избирательное действие Солидарность” (ИДС) в ходе правительственного кризиса предложило своего лидера Мариана Кшаклевского на пост премьер-министра, “Уния свободы” (УС) официально вышла из правительства. В резолюции УС говорится, что “Мариан Кшаклевский не дал бы новому правительству шансов на ожидаемые перемены в стиле управления”. Во главе правительства, поддерживаемого парламентским меньшинством, остался прежний премьер Ежи Бузек.

* “Мариан Кшаклевский (...) одновременно стал кандидатом на посты премьер-министра и президента. Это заставило его противников задуматься, что же случится, если он проиграет президентские выборы. (...) Меня, однако, больше интересует, что случилось бы, если бы он их выиграл. Тогда он был бы президентом и премьером в одном лице, а вдобавок председателем профсоюза и крупнейшей парламентской фракции. (...) Тогда даже самые озабоченные иностранные наблюдатели, западные дипломаты и аналитики пришли бы к выводу, что в Польше не происходит ничего серьезного, а ситуация — не драматическая и не грозящая потерей стабильности, но ужасно забавная”. (Клаус Бахман, “Жечпосполита”, 7 июня)

* Епископ Тадеуш Перонек: “Трагедией коалиции была невозможность оторваться от партийных и личных интересов, что отодвинуло на задний план благо государства. (...) Особенно опасный пример подавала группа утопистов, поставивших парламентское большинство в зависимость от поддержки нереального идеала, близкого к образу конфессионального государства”. (“Газета wyborcza”, 25 мая)

* Президент Александр Квасневский, принимая отставку министров из УС, сказал: “Польша последних десяти лет (...) многим вам обязана (...) честное подведение итогов ваших достижений будет свидетельствовать о том, что вы лично и “Уния свободы” в целом хорошо служили Польше”. На вопрос, что он сделал бы на месте подавших в от-

ставку министров, президент ответил: “То же самое, только быстрее”. (“Газета wyborcza”, 9 июня)

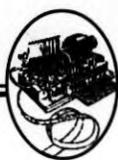
* Лешек Бальцеревич получил Финансовую премию, которую каждый год присуждает Глобальный форум инвесторов в Швейцарии — за “в высшей степени этическое отношение к свободному обществу”. Бронислав Геремек получил американскую медаль Свободы им. Франклина Делано Рузвельта за заслуги в защите принципов демократии. (“Газета wyborcza”, 26 мая)

* Януш Стейнхоф, новый вице-премьер и министр экономики: “Я считаю своим долгом продолжать экономическую линию, проложенную Лешек Бальцеревичем. Иной возможности я себе не представляю”. (“Газета wyborcza”, 9 июня)

* По данным ЦИОМа, 40% поляков одобряют выход УС из правящей коалиции, 24% — осуждают. 34% опрошенных возлагают на ИДС вину за конфликты, расколовшие коалицию. (“Впрост”, 18 июня)

* Павел Спевак, социолог: “На протяжении двух с половиной лет коалиционного правления ИДС потеряла половину своих избирателей. Электорат Унии уменьшился на треть (...) На президентских выборах ни один кандидат т.н. правых сил не может рассчитывать больше чем на 4% голосов (...) В то же время Союз демократических левых сил (...) обладает рекордной поддержкой — 41-42% (...) мы приближаемся к нашему концу века идеологий (...) Решающее значение приобретают дела (...) требующие умелых законодателей и хороших чиновников (...) о готовности пойти на парламентские выборы заявляют 62-63% избирателей (...) Поляки вполне реалистически оценивают политический класс. Они заведомо не любят один тип людей — грешных моралистов”. (“Тыгодник повшехны”, 18 июня)

* Руководство Союза демократических левых сил подвергло партийным взысканиям примерно полтора десятка видных деятелей партии (депутатов, президентов [мэров] городов, членов городских управлений, маршала Малого сейма самоуправ-



ления и т.п.) из Быдгощи, Грудзёнды, Иновроцлава за кумовство, мошенничество и шантаж. (*"Газета wyborcza"*, 15 июня)

* Почти 64 тыс. поляков занимается отправлением власти на всех муниципальных уровнях. После выборов эта армия политиков занимает в структурах управления места, стимулирующие неясные соглашения между партиями, злоупотребления, коррупцию. Граждане, голосуя на муниципальных выборах, не знают, кому в действительности отдадут власть. После десяти лет существования возрожденного местного самоуправления наступает время провести новую его реформу, без которой подлинная демократия будет существовать только на центральном уровне. (*"Впрост"*, 11 июня)

* Резолюция юристов, собравшихся в рамках VIII Общепольских правовых дней, начинается словами: "Нынешний кризис правозаконности выражается в структурном кризисе органов правосудия, в упадке авторитета властей, в пренебрежении законом, в росте социальной агрессии". (*"Жечпосполита"*, 29 мая)

* Исправительное учреждение в Твердце (Новый Виснич) устроило на чердаке тюрьмы гостиничные номера для туристов. Плата за роскошные апартаменты должна пополнить государственный бюджет. (*"Жечпосполита"*, 20-21 мая)

* Главный административный суд постановил, что здания ратуши, почты, лица и центра здравоохранения в Дукле (Подкарпатское воеводство) должны быть возвращены семье Тарновских, так как были конфискованы и национализированы с нарушением закона. (*"Жечпосполита"*, 9 июня)

* Газета "Жиче" проиграла судебный процесс по иску, предъявленному Александром Квасневским. Суд постановил, что на первой странице газеты должно быть напечатано извинение за покушение на репутацию президента публикацией ложных сведений о том, что президент провел свой отпуск вместе с российским шпионом Владимиром Алгановым. Однако суд не удовлетворил требование Александра Квасневского о выплате газетой 2,5 млн. зл. в пользу пострадавших от наводнения. Это означает, что президент потеряет около 100 тыс. зл., уплаченных им в залог. (*"Тыгодник повшехны"*, 4 июня)

* Верховный суд отменил приговор Главного административного суда, по которому журналисты не имеют доступа к протоколам заседаний гминной ревизионной комиссии, проходящих за закрытыми дверями. О том, что является секретным, неясным, доступным лишь узкому кругу, может решать только и исключительно закон, а не организационный акт типа распорядка совещаний комиссии, допускающего их проведение за закрытыми дверями. (*"Жечпосполита"*, 2 июня)

* Благодаря анонимным доносам варшавское налоговое управление получило в 1999 г. 801 тыс. зл., а в результате рутинных проверок — 569 миллионов. (*"Впрост"*, 4 июня)

* Предприниматели из "Бизнес-центр клуба" предложили 23 поправки к правительственному проекту нового закона о государственных и муниципальных заказах. (*"Газета wyborcza"*, 23 мая)

* В "Открытые пенсионные фонды" должны вступить около 7 млн. поляков — между тем оказалось, что заключено 10,5 млн. договоров. До сих пор обнаружено 2,5 тыс. фальшивых заявлений о вступлении в фонды, составленных 161 агентом фондов, которые воспользовались личными данными 461 человека. (*"Газета wyborcza"*, 10-11 июня)

* Эксперты всего мира оценивают польскую пенсионную реформу как успех. Роберт Хольцман, эксперт Всемирного банка, отвечающий за системы социального страхования, сказал: "Это просто чудо, что реформа пошла так далеко". (*"Жечпосполита"*, 2 июня)

* 36% программ для персональных компьютеров в мире — нелегального происхождения. В Польше этот показатель составляет 60%, за прошлый год он снизился на один процент. (*"Жечпосполита"*, 26 мая)

* "В результате засухи наступила "зерновая паника", а правительство запаздывает с помощью. Подорожают ли хлеб и мясо? Урожай будет крайне низкий, цены на зерно и муку уже растут в устрашающем темпе. Стране угрожает рост инфляции". (*"Газета wyborcza"*, 2 июня)

* Правительство наконец начало бороться с паникой на рынке зерна. Увеличатся поставки из запасов Агентства сельскохозяйственного рынка, возможно, будут предоставлены контингенты зерна из беспошлинного импорта, а также льготные кре-



днты пострадавшим от засухи крестьянам. (*"Газета выборча"*, 6 июня)

* По данным Всемирного банка, польский экспорт в 1998 г. вырос: сырьё — на 1,29%, современных технологий — на 15,79%, продовольственных полуфабрикатов — на 14,68%, продуктов полной переработки — на 22,05%. (*"Жечпосполита"*, 26 мая)

* Проф. Вацлав Вильчинский: "Мало кто решится прямо сказать, что как страна мы живем не по средствам, что польская государственная задолженность снова достигла почти 60 млн. долларов (...) Мы боимся сказать самим себе, что должны повысить уровень капиталовложений и потреблять меньшую часть отечественной продукции. Мы боимся сказать хоть слово о необходимости экономии в бюджетных расходах, хотя именно они финансируются высокопроцентным кредитом". (*"Впрост"*, 4 июня)

* В Пабянице близ Лодзи открыт Центр сотрудничества и торговли Польши со странами Содружества Независимых Государств. Здесь польские производители экспонируют товары, а торговцы с востока — покупают. Таможенный досмотр производится на месте. 50 польских фирм выставляют главным образом одежду, обувь, стройматериалы. Еще сто фирм заинтересованы участием в этой постоянной выставке. Владелец центра — фирма "Эрато". (*"Жечпосполита"*, 24 мая)

* 55% контрабандных товаров конфискуются погранохраной и таможенниками на восточной границе. Сумма контрабанды через эту границу в последние годы уменьшилась почти в три раза. (*"Впрост"*, 4 июня)

* Польский генеральный консул в Санкт-Петербурге Ежи Сколарек был задержан на российско-белорусской границе, так как таможенники обнаружили в его машине около 10 старинных предметов, на которые распространяется запрет вывоза из России. (*"Жечпосполита"*, 10-11 июня)

* Главное управление пограничной охраны отозвало весь личный состав (80 человек) контрольно-пропускного пункта в Безледах на польско-российской границе (с Калининградской областью). "Это катастрофа, — сказал староста гмины Бартошицы, — все знают, что это список т.н. добродушных пограничников, которые не обращали внимания, когда люди везли лишний блок сигарет". (*"Газета выборча"*, 31 мая и 1 июня)

* Председатель комиссии иностранных дел Государственной Думы Дмитрий Rogozin после встречи с президиумом комиссии иностранных дел польского Сейма: "Нет в мире такой пилы, чтобы отрезать Польшу от России, Россию от Польши". (*"Жечпосполита"*, 1 июня)

* Польский культурный центр в Москве и Российский государственный гуманитарный университет провели симпозиум о ближайшем будущем обеих стран. По мнению участников, самое худшее, с чем мы можем столкнуться, — это возникновение новой "границы цивилизаций", проходящей по Бугу. Поэтому продолжение польско-российского диалога одинаково необходимо обеим странам. (*"Жечпосполита"*, 16 июня)

* Еще раз Дмитрий Rogozin: "Польша раньше и быстрее, чем Россия, сумела присоединиться к европейским структурам сотрудничества и безопасности. Но государство тем отличается от человека, что, глядя в одну сторону, не поворачивается всем телом в другую. Я надеюсь, что Польша сумеет занять такую позицию, чтобы глядеть в две стороны одновременно". (*"Газета выборча"*, 2 июня)

* Подполковник Чеслав В. приговорен к лишению воинских званий и четырем годам тюрьмы за шпионаж в пользу СССР и России в 1988-1993 гг. (проверить, в какие годы он шпионил на самом деле) Чеслав В. передавал советской и российской разведке копии документов и информацию о деятельности польской военной разведки. (*"Жечпосполита"*, 23 мая)

* Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Сергей Разов на встрече с польскими сенаторами — членами польско-российской парламентской группы сказал, что "трудно было бы назвать хоть одну страну в составе НАТО, отношения [России] с которой в последнее время ухудшились более, чем с Польшей". Посол счел три телефонных разговора президентов обеих государств единственным оптимистическим проблеском. (*"Жечпосполита"*, 8 июня)

* По мнению секретаря Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника, России следует признать катынское злодеяние военным преступлением и преступлением против человечества. Такой шаг был бы надлежащим завершением катынского дела. Речь идет прежде всего о нравственной оценке преступления НКВД. Быв-



ший председатель российского Катынского комитета Вячеслав Брагин ответил, что “еще слишком рано раскрывать в России полную правду о Катыни. Пока общественность России не созрела, чтобы действительно и заинтересованно заниматься проблемами катынского преступления”. Брагин попросил у поляков прощения за Катынь, Харьков и Медное и напомнил, что в тамошних лесах рядом с поляками лежат останки тысяч русских. (“Жечпосполита”, 22 мая)

* За последние годы в Польшу из Казахстана вернулось около двух тысяч поляков. Польское меньшинство в Казахстане насчитывает приблизительно 90 тыс. человек. “Образ родины, встречающей соотечественников с распростертыми объятиями, полной квартир и работы, ждущей своих потерянных детей, о чем разглагольствуют польские политики во время своих поездок в Казахстан, часто становится причиной горьких разочарований по приезде в неведомую страну, где модель welfare state стала уже воспоминанием”. (“Тыгодник повшехны”, 4 июня)

* Ежи Помяновский, главный редактор “Новой Польши”: “Чтобы улучшить отношение русских к Польше, необходимо заслужить интерес и уважение тех, кто оказывает влияние на общественное мнение. (...) Достаточно, если благодаря чтению “Новой Польши” расширится круг русских, не желающих видеть в Польше ни вассала, ни дежурного врага”. (“Газета выборча”, 30 мая)

* Польша передала литовской армии только что вышедшее из заводских цехов военное оснащение на сумму полтора миллиона долларов: 10 бронетранспортеров, два артиллерийских орудия, свыше 100 новейших винтовок, два пулемета, 11 радиостанций, пистолеты, боеприпасы, комплекс для полевой батальонной амбулатории. (“Газета выборча”, 23 и 25 мая; “Жечпосполита”, 26 мая)

* В заключение третьей экономической встречи президентов Польши и Украины Александр Квасневский сказал: “Проукраинская ориентация Польши должна быть столпом нашей политики на десятки лет”. Президент Леонид Кучма ответил на это: “Когда слова о европейских чаяниях Украины звучат из уст президента Квасневского, Европа воспринимает это как нечто более достоверное, чем если бы об этом говорил я”. (“Газета выборча”, 27-28 мая)

* По данным Главного статистического управления в прошлом году границы Польши пересекло почти 10 млн. граждан Украины. Большинство приезжает на три месяца с целью заработать. Средняя зарплата на Украине составляет менее 50 долларов. Работая в Польше нелегально, можно привезти домой по крайней мере в три раза больше. Сезонные рабочие с Украины говорят: “Если натолкнешься на честного поляка, считай — повезло”. (“Жечпосполита”, 10-11 июня)

* Фрагмент стихотворения вьетнамца Нгуен Ван Триня “Что могу я сказать тебе, сынок” (“Газета выборча”, 30 мая):

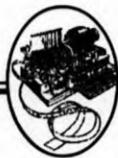
*Ничего не могу рассказать тебе о поляках,
живу среди миллиона людей, не разговаривая,
но о людях, которых встречаю ежедневно, —
полицейских, чиновниках,
кассирах, охранниках —
не хотел бы тебе рассказывать.*

* В Польский буддийский союз, зарегистрированный в 1995 г., входит 5 тыс. человек. Еще две тысячи не входящих в союз заявляют о своей принадлежности к буддийской религии. Кроме того, в Польше живут несколько десятков тысяч буддистов — эмигрантов из Монголии и Вьетнама. (“Газета выборча”, 10-11 июня)

* Фрагмент интервью с Моникой Краевской: “Когда я шла по улице с еще маленьким Габриэлем и увидела на стене нарисованную звезду Давида на виселице, я заслонила рисунок своим пальто, чтобы мальчик его не увидел. Однажды он пришел из детского сада и спросил, очень ли больно умирать повешенному. Как объяснить ему, почему такая большая часть народа запугивает друг дружку горсточкой евреев?” (“Газета выборча”, 20 мая)

* Немецкие и польские учащиеся профессионально-технических училищ в течение шести лет реставрируют еврейское кладбище и похоронное бюро в Прушкове. Местное хулиганье повыбивало окна и унесло отреставрированную дверь. Потери составили несколько тысяч злотых. “Чем больше труда вкладывает молодежь, тем больше материала для разрушения. Поэтому мы думаем установить сигнализацию”, — сказал президент города Ян Стажинский. (“Газета выборча”, 20-21 мая)

* Во время торжественной мессы на Театральной площади в Варшаве примас Польши кардинал



Юзеф Глемп принес покаяние в связи с 2000-летием христианства. Примас просил у Бога прощения за своих предшественников, которые поддавались страху перед царизмом; за священников, которые лояльностью коммунизму зарабатывали жизненные выгоды; за священников, живущих не по средствам, предающихся порокам, презирающих иноверцев и снисходительно относящихся к антисемитизму; наконец — за свой собственный страх во время военного положения и за то, что он сумел уберечь священника Ежи Попелушко. По словам комментатора, “важно, однако, будет ли это покаяние содействовать ограничению явлений, за которые примас бил себя в грудь (...) Услышат ли духовенство и верующие то, что говорит примас?” (“Впрост”, 28 мая)

* Украинцы-лемки требуют восстановить униатскую часовню в Ханчове и наказать католического настоятеля за самовольную разборку часовни. (“Газета выборча”, 7 июня)

* Один немецкий предприниматель сказал: “Польские работники охотно идут работать в немецкие фирмы, так как эти фирмы — синоним порядка. Неприятности начинаются, когда они обнаруживают, что порядок зависит от них самих”. (“Газета выборча”, 5 июня)

* Из данных торговой инспекции следует, что 85% буфетов и киосков в больницах и санаториях подлежат наказанию за нарушение санитарных правил. Тем, кто лечится в больнице или санатории, лучше обходить подальше находящиеся там продовольственные точки. Каждый третий продукт в них просрочен, иногда на много месяцев. Холодильники, столы, полки — все грязное. Продукты хранятся в неподобающих условиях. (“Газета выборча”, 29 мая)

* Из письма в редакцию: “Уже несколько десятков лет я тружусь в своей маленькой ремесленной мастерской, и мне никогда не приходилось давать взятки или искать протекции в воеводском комитете ПОРП (...) После того как строй переменялся, обслуживание клиентов в учреждениях решительно изменилось к худшему (...) “Не дашь — ничего не добьешься” (...) Правовая система в Польше (...) не изменилась к лучшему, а заменена худшей”. (“Жечпосполита”, 23 мая)

* Около ста тысяч учащихся средних школ [т.е. старших классов: в Польше средняя школа — лицей — отделена от неполной средней] приняли участие в

программах экономического образования, организованных Фондом молодежного предпринимательства. Предприятия, созданные лицеистами, располагают несколькими месяцами на то, чтобы придумать свою продукцию, провести маркетинг и составить полную смету. Продукция может продаваться только в школе. Школьники начинают свое предпринимательское приключение практически без капитала и все-таки зарабатывают по несколько сот злотых. (“Впрост”, 4 июня)

* Почти 40% учащихся варшавских школ в возрасте 17 лет уже пробовали марихуану, почти 23% — амфетамины. Уже свыше четверти рынка наркотиков находится в руках несовершеннолетних торговцев, которые практически монополизировали в школах оборот марихуаны, амфетаминов, экстази. (“Впрост”, 4 июня)

* “Две фирмы начинают видеть необходимость поддержки благотворительных акций. Это улучшает их репутацию. Начальство само тягивается в организованные благотворительные акции и побуждает к тому же своих сотрудников (...) Когда-то мы ставили в фирме копилку (...) Теперь мы поддерживаем благотворительную деятельность ежемесячными добровольными отчислениями из зарплаты (...) Регулярные отчисления (...) позволяют нуждающимся постоянно получать какие-то средства, а благотворителю дают уверенность, что он участвует в финансировании благородной цели”. (“Впрост”, 28 мая)

* “Если бы строители представили себе, как страдает живьем замурованный птенец, стали бы они при строительстве заделывать гнезда? Читатели общаются о том, как замуровывают птенцов. Вчера на замуровывание гнезд в Пясечно отреагировал Филипп Бархе, инспектор убежища для животных: он подал заявление в прокуратуру (...) Прокуратура в Пясечно должна назначить прокурора, который займется делом птенцов”. (“Газета выборча”, 6 июня)

* 50 тыс. подписей под гражданским проектом закона, запрещающего транспортировку живых лошадей на заграничные бойни, собрали активисты экологической организации “Гая”. До конца сентября они рассчитывают собрать требуемые сто тысяч подписей. Каждый год на заграничные бойни отправляют около 100 тыс. лошадей. Во время транспортировки лошади давят друг друга, лома-



ют ноги, умирают от истощения. (*“Газета выборча”, 1 июня*)

* Тесты и исследования показали, что дети, играющие в агрессивные компьютерные игры (а таковые составляют около 80% всех игр), характеризуются пониженной способностью общения с ровесниками, трудностями в совместной работе, повышенной агрессивностью, сниженным нравственным чувством, отсутствием сострадания, чрезмерным ощущением собственного превосходства. Насилие на экране компьютера опаснее, чем на телеэкране, так как здесь дети — не пассивные наблюдатели, но активные участники виртуальных избиений, убийств и мучений, что приводит к закреплению психопатического поведения. Исследования впервые в Польше провела кафедра воспитательной психологии Люблинского католического университета. (*“Жечпосполита”, 26 мая*)

* По оценке полиции в Польше действует свыше ста детских и молодежных банд. Борьбе с ними практически полностью препятствуют польские законы. Существующие законы прямо толкают на использование детей в преступной деятельности и способствуют резкому росту организованной преступности несовершеннолетних. (*“Впрост”, 11 июня*)

* По данным Института органов правосудия подростки в возрасте от 13 до 17 лет (5% населения Польши), совершают 15% преступлений, в том числе 40% краж со взломом. (*“Жечпосполита”, 12 июня*)

* 12 пьяных молодых людей перед началом мессы ворвались в костел в Бытове близ Слупска, растолкали верующих, разгромили алтарь и грубо оскорбляли священника. (*“Газета выборча”, 22 мая*)

* Вроцлав закупил за 190 тыс. злотых рекламную статью в “Ньюсуике” и за 130 тыс. долларов — в “Тайме”. (*“Газета выборча”, 1 июня*)

* Президент Александр Квасневский признался, что был поражен видом множества супермаркетов, мимо которых проезжал в Силезии: “Видно, люди здесь зажиточные”. (*“Жечпосполита”, 16 июня*)

* На улице Свободы в Валбжихе (Силезия) появилось множество ядовитых змей. Ни убивать, ни ловить их нельзя: они находятся под строгой охраной. Причиной появления такого множества змей считают теплую зиму и ранее жаркое лето. (*“Газета выборча”, 25 мая*)

* Епископ Роман Анджеевский, пастырь польских крестьян, заявил: “Церковь смотрит на Европейский союз доброжелательно, ибо видит его как общественное благо. Церковь видит, какую пользу он несет польскому народу. наших крестьян бросили на произвол ширящейся антиевропейской пропаганды, которая имеет удобную почву: 11 лет крестьяне платят цену экономической реформы, не получая от нее выгод. Все правительства, в том числе и правительство крестьянской партии, делали все, чтобы крестьяне настроились против ЕС”. (*“Газета выборча”, 9 июня*)

* В переговорах с ЕС Польша добивается права не применять европейские санитарные нормы к молочным продуктам, идущим на внутренний рынок. Около двух третей продаваемого в Польше молока не отвечает критериям Европейского союза. (*“Жечпосполита”, 13 июня*)

* “Европа моя любимая! (...) Европейец ли я? (...) Моя мечта — новые ботинки. Знаешь ли ты, Европа, что у нас компьютер — по-прежнему волшебное слово? (...) Множество людей мечтает о водопроводе, ванне и кухонной раковине. Житель Европы, знаешь ли ты, что значит вытаскивать воду из колодца?” — написала ученица 8 класса Доминика Мелания Крыак из Воли-Осовинской (Подлесье). За свое “письмо Европе” она заняла первое место на конкурсе Общества в поддержку интеграции Центральной Европы в ЕС. (*“Газета выборча”, 9 июня*)



Сергей Ларин

ОДИНОКИЙ ОХОТНИК

/ Заметки переводчика /

Эти заметки не претендуют на то, чтобы полностью воссоздать творческий портрет Рышарда Капусцинского. Я выступаю здесь как переводчик, а не как литературный критик, которому больше пристал подобный широкий замах. Среди моих переводов с польского есть и несколько произведений Капусцинского, из которых только одно — “Император” — издано у нас отдельной книгой (М., “Наука”, 1992). Остальные его вещи — “Немного об Анголе” (“Еще один день...”), “Футбольная война”, “Империя” публиковались в журнальном варианте лишь в нашей периодике, а некоторые (например, “Шахиншах”), уже переведенные, пока и вовсе не нашли издателя.

На мой взгляд, Капусцинский (наряду со Станиславом Лемом) — самое яркое и своеобразное явление в современной польской литературе. Явление, с которым русский читатель, к сожалению, почти незнаком, в то время как на Западе книги Капусцинского переведены на десятки языков и давно вошли в читательский обиход. В чем причина его популярности, перешагнувшей границы Польши?

Прежде всего, конечно, в его уникальном литературном даре, который, как и всякое уникальное явление в искусстве, неповторим. Рышард Капусцинский, позволю себе заметить, соединяет в себе две, казалось бы, совершенно несоединимые вещи. Он по-журналистски мобилен, откликается на многие актуальные события, происходящие в “горячих точках” планеты, на то, что в данный момент волнует мир. Но откликается он на все это чисто по-писательски. Его очерки — это, как правило, первоклассная документальная проза: их можно читать и перечитывать и десять, и двадцать лет спустя. Как, например, ту же книгу об эфиопском негусе Хайле Селассие — “Император”. Самого Хайле Селассие давно нет в живых, империя его перестала существовать. Казалось бы, и сама очерковая вещь об этом утратила свою силу, поскольку там сейчас обострились совсем другие проблемы, непохожие на те, что волновали эфиопов во времена императорской власти. Но попробуйте открыть книгу Р.Капусцинского, прочесть из нее две-три страницы — в начале, в конце, в середине, — и вы не сможете от нее оторваться, невольно попадая под завораживающее воздействие его превосходной прозы, которую Джон Апдайк назвал “магической”.

Такое редкостное сочетание журналиста и писателя в одном лице — отличительная особенность Рышарда Капусцинского, книги которого по понятным причинам рвут из рук не только читатели, но и издатели. Еще бы: получить первоклассный литературный текст да еще из очередной “горячей точки”, приковывающей всеобщее внимание, — это дорогого стоит! Капусцинский-литератор, кроме того, сочетает дар художника с пронизательностью политолога-аналитика. Любое явление, которое он наблюдает и фиксирует, автор умеет не только вовремя заметить, но и предугадать дальнейшее развитие событий. Так, в Иране во время революции 1979 г., когда все слои тамошнего общества были охвачены эйфорией и ликованием в связи с бегством из страны шаха и его семьи, Капусцинский, находясь в ту пору в Тегеране, недолго пребывал во власти подобных эмоций. Он раньше других почувствовал, что дальнейшим демократическим преобразованиям приходит конец, ибо к власти прорвалась самая реакционная часть иранского духовенства, которая, прикрываясь националистическими лозунгами, пытается повернуть страну вспять, ко временам средневековья. Некоторым людям тогдашние опасения Капусцинского казались необоснованными, но дальнейшее развитие событий подтвердило правоту польского журналиста. Да и итоги недавних выборов в иранский парламент — новое свидетельство его прозорливости: молодое поколение иранцев, задававшее тон на выборах, продемонстрировало свое нежелание жить в тесных рамках авторитарно-клерикального государства.

Такая политическая пронизательность журналиста-аналитика выработалась у Капусцинского далеко не сразу. В некоторых его очерках из Африки начала 60-х еще ощутимо плоскостное, черно-белое видение событий, происходивших на том континенте. Журналисту казалось подчас, что с уходом недавних колонизаторов в жизни африканцев, которую он наблюдал, сразу произойдут кардинальные изме-



нения, социальные и экономические проблемы быстро и успешно разрешатся и т.п. Реальная тамошняя жизнь оказалась сложнее, драматичнее таких социологических и политических схем. Позже, уже обладая немалым опытом в постижении процессов, идущих в африканских государствах в постколониальный период, Капусцинский обрел подлинную широту взгляда и точность оценок.

Впрочем, и сам очеркист неизбежно менялся одновременно с переменами, увиденными им на данном континенте, где, как грибы после дождя, возникали все новые независимые и суверенные образования. В том, что он менялся, что углублялось его понимание происходивших вокруг него событий, нет ничего неестественного. Ведь и журналистом-международником он сделался сравнительно недавно. Начинать же он как очеркист на страницах варшавского еженедельника "Политика" в оттепельные годы, когда к власти пришел Гомулка, значительно ослабивший петлю цензурной удавки на шее отечественной прессы. Сперва Капусцинский писал репортажи из польской "глубинки" и в своих коротеньких зарисовках и "сценках из жизни" воспроизводил человеческие судьбы, конфликты, коллизии. Из этих реляций и составила его первая книга "Буш по-польски" (буш — в Африке и Австралии невозделанная земля, заросшая кустарником). Но уже в этих начальных репортерских опытах Капусцинский проявил себя скорее как писатель, нежели как очеркист. Большинство его вещей, вошедших в этот сборник, не устарели и по прошествии 10-15 лет после их первой публикации, когда сами проблемы, затронутые в них, уже вроде бы отошли в прошлое. Но остались характеры людей, запечатленных автором — они-то и "держат" каждую из этих историй. Мы с моим приятелем, в ту пору молодым полонистом В.Головским, проделали любопытный опыт: в начале 60-х предложили московскому издательству "Прогресс" выпустить сборник рассказов молодых польских писателей, представителей "новой волны", заявивших о себе после 56-го года. В основном мы привлекали те публикации, которые появлялись в польской печати, поскольку у большинства дебютантов не было еще своих книг. Правда, издание сборника на русском языке по ряду причин сильно затянулось, и к моменту его выхода в свет некоторые из "наших" авторов обзавелись первыми томиками. Среди этих счастливцев был и Рышард Капусцинский. Одну из его документальных вещей — "Похищение Эльжбеты" мы и поместили в "прогрессовской" антологии "Польские новеллисты" (М., 1970). Примечательно, что ни редактор книги М.Конева, ни рецензенты, оценивавшие составленный нами том, — никто не выразил ни малейшего сомнения по поводу появления документальной прозы в сборнике новелл. Мне кажется, что этот пример — лишнее подтверждение неповторимой индивидуальности творческой манеры Капусцинского. И, раз уж речь зашла об этом, следует указать, что писательский арсенал автора "Императора" достаточно широк и многообразен. Стилистически его книги очень разные. Все зависит от того, какую задачу в каждом конкретном случае ставил перед собой автор.

В уже упоминавшейся выше книге Капусцинского об Анголе — "Еще один день..." — внимание автора сосредоточено на том, как где-то на окраине некогда обширной колониальной империи происходила смена власти, как агонизирует, умирает подточенный временем, а прежде отлаженный механизм, как перестают функционировать очередные его сегменты. Взять хотя бы саму столицу крупнейшей португальской колонии в Африке — Луанду. Капусцинский фиксирует наше внимание на том как умирает этот город: сперва его покидают полицейские, потом пожарники, потом мусорщики. И вот город, казалось бы, еще живой, начинает смердеть, источать зловоние, как разлагающийся труп. В "Императоре" писатель тщательно и скрупулезно прослеживает всю властную вертикаль абсолютистской монархии, ее природу и то, как и на чем она держалась, как происходила постепенная ее замена другой системой власти: монархия сменяется военной диктатурой с марксистской подкладкой. И что в данном случае лучше — еще вопрос. Читатель, закрывая книгу, вовсе не уверен, что эта новая форма правления в Эфиопии окажется лучше старой, привычной. Что, кстати, сама жизнь вскоре и подтвердила... Соответственно с определенной авторской задачей и выстроен весь текст "Императора". Действие книги развивается на малой сценической площадке внутри самого дворца. Дворец Хайле Селассие — своего рода Атлантида, медленно погружающаяся в небытие. Меняется постепенно и сама стилистика повествования. Сначала следует короткая прамбула — это как бы современная рамка, в которую вмонтированы уже внутрдворцовые эпизоды, изложенные устами бывших царедворцев и слуг. Желая отчетливее подчеркнуть некую потусторонность всего происходящего "действия", автор сознательно вводит в текст рассказчиков устаревшие, отжившие свой век слова, обороты, фразы. Естественно, что



и я как переводчик стремился передать средствами русского языка всю эту архаику, подыскивая у Даля и Фасмера подходящие эквиваленты. Одно-два слова позаимствовал даже у Тредьяковского.

В произведениях Капусцинского всегда отчетливо выступает фигура автора. Он как бы на виду, он — непосредственный свидетель. Вместе с тем он не хочет быть на авансцене, заслоняя все происходящее. Он выступает скорее как своего рода “человек из толпы”, который вроде бы случайно оказался “в нужном месте в нужный момент”. При этом рассказчик хочет сохранять полную объективность, оставаясь нейтральным наблюдателем и не принимая слишком явно сторону какой-то одной из противостоящих друг другу сил. Он предпочитает оставаться “над схваткой”, чтобы сохранить свободу маневра, свободу писать правду обо всем увиденном, не подгоняя свои наблюдения и выводы под определенные идеологические требования той или иной партии, движения.

Книга Капусцинского “Немного об Анголе” (“Еще один день...”) оказалась первой крупной работой, которую мне довелось переводить. Позже были и другие его вещи, даже порой более яркие и сильные, в переводе которых я тоже участвовал, но этот ангольский цикл запомнился мне больше остальных. Возможно потому, что “Ангола” положила начало моему личному знакомству с автором, способствовала укреплению дружеских контактов, а это в свою очередь помогло мне лучше узнать Капусцинского-человека, уяснить, что движет им в его постоянной тяге к путешествиям и поездкам. Может быть, “Ангола” крепко запомнилась мне и потому, что эту вещь отличала некая свежесть и новизна авторского взгляда на проблемы Третьего мира. Привлекала раскованность автора в освещении всего, что он наблюдал, не сообразуясь особенно с теми строго обозначенными канонами, которым в обязательном порядке надлежало следовать нашим журналистам-международникам. Работа над переводом ангольского цикла запала в память еще и по другому курьезному обстоятельству. Перевод был мне заказан редакцией журнала “Иностранная литература”. Сроки при этом оказались довольно жесткими. Надеюсь оптимально использовать оставшиеся у меня две-три недели, я отправился в подмосковный Дом творчества журналистов. Там, думалось мне, вдали от московской суеты, телефонных звонков, домашних дел я сумею быстро завершить начатое. Это было в самой середине суровой зимы, а в Доме творчества было отключено отопление.

Большинство постояльцев вернулось в Москву на теплые городские квартиры. Но что было делать мне? Я приехал сюда с чемоданом словарей, географических справочников и атласов; кроме того, при мне была еще и пишущая машинка. Оставалось только, как говорится, сжав зубы приниматься за дело. Парадокс ситуации усугублялся тем, что автор описывал события, происходившие в африканской стране в районе экватора, да еще в летнюю пору. Рефреном через все повествование проходила тема удручающей, давящей жары. Слова: “жажда”, “зной” были, выражаясь по-современному, ключевыми в этом тексте! Я же сидел в продуваемом студенными ветрами домишке, закутавшись в одеяло, и одеревеневшими пальцами выстукивал свой перевод. Даже теперь, беря в руки “Еще один день...” (“Иностранная литература”, 1977, №№ 8, 9), я ощущаю легкий озноб.

Многие чисто человеческие качества Капусцинского я узнал лучше в период 1989-1992 гг., когда он довольно часто приезжал в Россию, собирая материал для задуманной им книги “Империя”. На его глазах происходил распад крупнейшей на евроазиатском континенте державы, и упустить такой момент Капусцинский, естественно, не мог, тем более что имел к этой “империи” определенную причастность. С ней он впервые столкнулся в раннем детстве, когда наблюдал, как части Красной Армии входят в его родной город Пинск, как это стремительное наступление сопровождается разрывами бомб и снарядов. Семья Капусцинских, скромных провинциальных учителей, наряду с тысячами других простых польских тружеников сразу утратила кров над головой, средства к существованию. Для семилетнего мальчика началась голодная, нищая кочевая жизнь, которая позже протекала в условиях гитлеровской оккупации. Впрочем, и первые послевоенные годы, уже в “Народной Польше”, были для подростка из неимущей семьи далеко не лучезарными: полуголодное существование, отсутствие самого необходимого — одежды, обуви, учебников для занятий сначала в гимназии, а потом и в Варшавском университете. Конечно же, журналист, переживший в детстве и отрочестве такое драматическое соприкосновение с могущественной советской державой, не мог оставаться в стороне, отстраненно наблюдая, как у него на глазах этот монолит теряет свою былую мощь, как усиливаются в нем центробежные силы, накапливается энергия распада. Но желание Капусцинского написать книгу о крушении Советского Союза вовсе не было продиктовано жадной сквитаться с некогда грозным монстром за все пережитые прежде беды.



Главным было другое: находиться там, где сегодня происходят важнейшие исторические события. В конце 80-х — начале 90-х Капусцинский (можно сказать это без преувеличения) исколесил тогдашний Советский Союз вдоль и поперек. Он побывал в самых отдаленных его уголках — на Колыме и в Воркуте, на Дальнем Востоке и в Сибири, в Средней Азии и в Закавказье, на Украине, в Молдавии и Белоруссии (в том числе и в своем родном Пинске), в республиках Прибалтики и т.д. Как правило, маршруты большинства его поездок пролегли через Москву, поэтому в ту пору он часто заглядывал к нам “на огонек”, особенно если хотел встретиться с кем-то из наших друзей — литераторов и журналистов.

Я видел, как трудно подчас давались Рышарду его поездки по бескрайним российским просторам. Многие из этих маршрутов он выразительно описал в своей “Империи”, главы из которой в моем переводе публиковались в журнале “Знамя” (1994, №2). Он внезапно появлялся в нашей московской квартире смертельно усталый, похудевший, осунувшийся, нередко простуженный. Но при этом Рышард не терял присущего ему оптимизма. Ни разу не уловил я в его рассказах о поездках по нашей стране, где дела шли все хуже и хуже, ни малейшего оттенка злорадства, иронии, сарказма. Поражало другое: его наполненность, даже переполненность новыми впечатлениями, полученными в пути, и стремление отправиться по еще одному задуманному им маршруту. Казалось, такая повышенная эмоциональная и чисто физическая нагрузка просто превосходит человеческие возможности. Но так уж, видимо, склад характера журналиста Капусцинского, жаждущего всегда быть в курсе того, что происходит в мире. Вместе с тем я убедился, что в душе Капусцинского есть и нечто такое, чего он не выкладывает так запросто своему собеседнику, при всем том, что он человек, как уже говорилось выше, очень открытый, контактный, доброжелательный. Для меня, например, полной неожиданностью явился тот факт из биографии Капусцинского, о котором я узнал совершенно случайно, переводя недавно главу из первой книги очеркиста “Буш по-польски”, о которой уже шла речь. В свое время главу эту выбросили из сборника по требованию польской цензуры. В изъятой главе он рассказывал о своем бесприютном военном детстве. В частности, я узнал из нее, что, будучи двенадцатилетним подростком, Рышард в качестве служки ксендза много раз участвовал в отпевании “аковцев” [бойцов Армии Крайовой — *Ред.*], павших на баррикадах Варшавского восстания 1944 года. Значит, уже в столь раннем возрасте его опалило суровое дыхание войны. Конечно, я понимал, что умолчание об этих тяжелых моментах во время разговоров Капусцинского со мной было вызвано вовсе не его “закрытостью”. Просто о таких материях у нас разговора не было. А он, будучи человеком скромным, далеким от саморекламы, даже не считал нужным упомянуть об этом. Но, узнав про эту историю, я невольно подумал, что такой эпизод из его биографии мог в какой-то мере повлиять на Капусцинского при выборе профессии. Кто знает, может быть, он вполне сознательно избрал для себя тяжкую, полную опасностей долю фронтового корреспондента? В чисто же человеческом плане в этом “замалчивании” столь примечательного события из своей личной жизни для меня глубже открылся сам Капусцинский с его твердым нежеланием выставляться напоказ, привлекать к себе внимание окружающих. Такая природная черта характера, как скромность, собственно, стала своеобразным девизом Капусцинского-журналиста. Как-то в одном из интервью или в какой-то из своих книг (точно уже не помню) он привел примечательные слова американского писателя Сола Беллоу: “Только не позволяйте усадить себя в президиум”.

— Это одинокий охотник, — сказал мне как-то о нем один известный польский писатель. И пояснил смысл сказанного: Капусцинский не любит путешествовать в группе своих коллег по профессии по уже обкатанным маршрутам. Он предпочитает осваивать свои собственные “нехоженые тропы”, оставаясь “одиноким охотником”, что позволяет ему целиком погрузиться в окружающую его действительность, слиться с ней, хотя бы на какое-то время: или отправиться с племенем бедуинов через Сахару, или послешить на один из фронтов освободительной войны в какую-нибудь из молодых африканских стран, представив затем своим читателям настоящую, неприукрашенную “окопную правду”, какой он ее увидел.

Сам Капусцинский признаёт, что любая такая поездка дается ему нелегко, только путем полного отречения от прошлой своей жизни, от дома, семьи, близких и друзей. В “Лапидарии”, книге коротких дневниковых заметок и размышлений, он пишет по этому поводу следующее: “Когда я в Африке, я не пишу писем, не звоню домой по телефону. Другой мир исчезает. В противном случае я ощущал бы



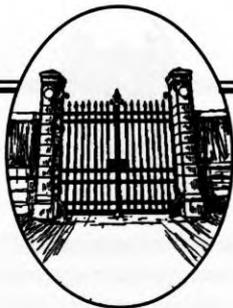
себя аутсайдером. Мне необходима по крайней мере временная иллюзия, что мир, в котором я в этот момент пребываю, — единственный”. Рышард Капусцинский — это литератор, который, пользуясь выражением Ф. Степуна, “думает глазами”, то есть исходит не из априорных идеологических предпосылок. Отправляясь в ту или иную “горячую точку”, он должен прежде всего увидеть происходящее своими глазами, самолично, прочувствовать и пережить увиденное и только после этого высказать свое суждение обо всем. Этим-то непредвзятым отношением к действительности книги Капусцинского и берут нас за живое. Его произведения пульсируют и дышат живой жизнью, в них, когда мы их читаем, еще не успел остыть весь жар и пыл недавно пережитых автором событий. Но даже когда этот жар несколько спадет и мы, читатели, поостынем от полученных эмоций — даже тогда мы не раз будем мысленно возвращаться к его рассказам, уже как бы заново, более спокойно воспринимая и осмысляя прочитанное.

Одна из главных идей, движущая действиями польского журналиста в ходе его поездок по разным странам и континентам, — показать читателю, помимо всего прочего, то, сколь широк и многообразен окружающий нас мир, как он сложен, как глубоки те насущные проблемы, которые встают перед современным человеком, живущим на разных широтах. При этом в своих книгах Капусцинский вовсе не стремится к разрешению всех этих проблем и сложностей, прекрасно понимая, что подобную задачу выполнить невозможно. Но он хочет, чтобы читатель его книг хотя бы осознал всю огромность и необъятность современного мира и понял, что мир этот не кончается за пределами его местечка, его города, даже его континента.

В своем недавнем интервью журналу “Одра” (1999, №7-8) Капусцинский, в частности, говорил: “Всем нам недостает понимания, что мы не одни на этом свете. У людей наблюдается тенденция замечать только свое ближайшее окружение... А ведь сейчас на свете живет шесть миллиардов наших братьев и сестер. Мы все — единая большая семья. В этой человеческой массе, к счастью, находятся и те, кого интересует нечто большее, чем свои собственные проблемы. На моих авторских вечерах я часто встречаю множество людей, особенно молодых, которые приходят, поскольку они действительно интересуются проблемами, о которых я пишу. Они их по-настоящему переживают. Разумеется, нельзя ожидать, чтобы этим занимались все, но само существование подобных групп чрезвычайно важно, так как оно ведет к наведению мостов между культурами”.

Поэтому, думается, не случайно в ряде социологических опросов польских читателей 70-90-х годов книги Рышарда Капусцинского фигурировали как важный фактор, формирующий, особенно у молодежи, новый взгляд и новое понимание того, что происходит в мире. Казалось бы, слова Капусцинского о единой человеческой семье, обитающей на нашей планете, и т.п. — все это довольно банальные истины, которые ничего особенно нового в себе не содержат. Но в своих книгах писатель каждый раз наполняет эти истины конкретным, живым, часто крайне драматическим жизненным материалом. И делает он это с упорством “фанатика своей профессии и идеалиста”, как он сам себя охарактеризовал в том же интервью, что уже цитировалось выше. Что ж, в литературе такое сочетание довольно редко, но, возможно, оно и сообщает книгам Капусцинского тот необходимый накал, который помогает ему ломать в сознании читателя устоявшиеся, привычные стереотипы, открывает перед ним иные перспективы.

Современный мир многомерен и сложен, полон самых острых проблем, часто трагически неразрешимых конфликтов. Рышард Капусцинский пишет как раз о таких вещах, от которых мы, читатели, нередко отмахиваемся, не придаем им значения, поскольку они вроде бы непосредственно нас не касаются, случаются где-то далеко, подчас даже на других континентах. Но проблемы эти вовсе не исчезают, не разрешаются сами собой. Опасность международного терроризма, кровопролитные локальные войны, острые этнические конфликты, чреватые дикими вспышками ненависти, — все, о чем уже три десятилетия подряд пишет Капусцинский, все эти проблемы, наоборот, придвинулись вплотную к границам России, а кое-где, как, например, в Чечне, уже перешагнули ее рубежи. Думаю поэтому, что Рышард Капусцинский скоро станет у нас в России одним из самых популярных писателей, ибо волнующие его вопросы, “до самой сути” которых он стремится дойти, — это проблемы не вчерашнего, а сегодняшнего и завтрашнего дня, проблемы, которые на пороге XXI века встают не только перед нами, но перед всем человечеством.

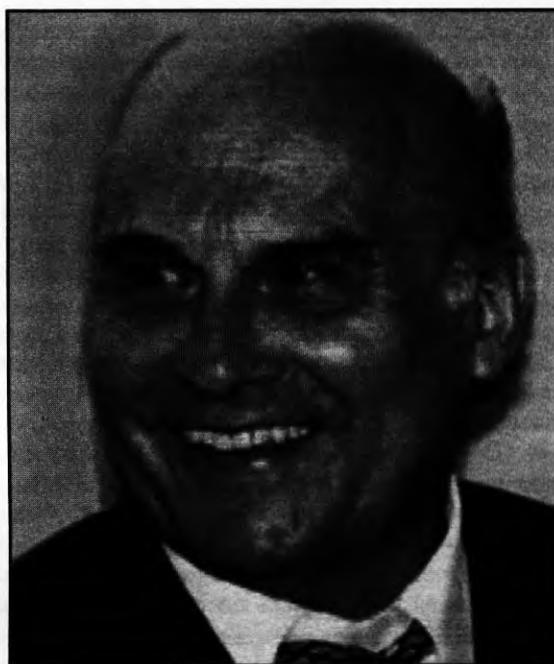


Рышард Капусцинский

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАМЯТИ

*по улочке недлинной
малого местечка
под сводами каштанов
бежит дитя веселое
к месту, где погибнет*

Януш А. Изотович



Тотальная война — это тысячи фронтов. Во время такой войны каждый оказывается на фронте, хоть бы никогда не лежал в окопе и ни разу не выстрелил.

Теперь, когда я мысленно переносусь в те годы, то убеждаюсь не без некоторого изумления, что лучше помню начало, нежели окончание войны. Начало отчетливее расположено в месте и времени, эту картину я без труда могу воспроизвести, поскольку она сохранила весь свой колорит, всю эмоциональную интенсивность. Все начинается с того, что однажды я внезапно замечаю, как на чистом голубом небе кончающегося лета (а небо в сентябре 39-го было изумительно голубым, без единого облачка), где-то очень-очень высоко возникают двенадцать отливающих серебром точек. Весь светлый высокий небесный купол наполняется глухим, монотонным, неведомым мне прежде гулом. Мне семь лет, я стою на лугу (война застала нас в деревне в восточной Польше) и всматриваюсь в едва-едва передвигающиеся по небу точки. В этот момент вблизи, возле леса, раздается страшный грохот, я слышу, как с адским громыханьем рвутся бомбы (о том, что это бомбы, я узнаю позже, ибо в тот момент еще не ведаю, что существует нечто такое, как бомба, само это понятие мне, ребенку из глухой провинции, который не знал еще ни радио, ни кино, не умел ни читать, ни писать, а также не слышал о существовании войн и смертоносного оружия, было чуждо), и вижу взметнувшиеся гигантские фонтаны земли. Я хочу побежать в сторону этого необычайного зрелища, оно меня ошеломляет и захватывает, а я не нажил еще военного опыта и не способен связать воедино, в одну цепь причин и следствий, эти сереброкрылые самолеты, грохот бомб, столбы земли, взлетающие на высоту деревьев, и грозящую мне смерть. И я устремляюсь в сторону леса, но чья-то рука хватается меня сзади за плечо и опрокидывает на луг. “Лежи, — слышу я взволнованный голос матери, — не шевелись!” И я запомнил, что мать, прижимая меня к себе, говорит что-то такое, о чем я не знаю, смысл чего мне неведом и о чем я позже хочу ее спросить, — она говорит: “Там смерть, детка”.

Ночь, и мне хочется спать, но спать нельзя, мы должны идти, должны бежать. Куда бежать — я не знаю, но понимаю, что бегство сделалось какой-то высшей необходимостью, какой-то новой формой жизни, поскольку бегут все: все шоссе, дороги, даже полевые тропинки забиты телегами, повозками и велосипедами, уйма узлов, чемоданов, сумок, ведер, полно перепуганных и беспомощно блуждающих людей. Одни бегут на восток, другие на запад, на север, на юг, бегут во всех направлениях, кружат, падают от изнеможения, засыпают где придется, но, чуть отдохнув, собирают остатки сил и снова

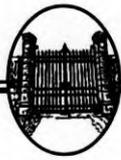


начинают свое беспорядочное, нескончаемое странствие. При бегстве я должен крепко держать за руку младшую сестру, нам нельзя потеряться, предостерегает мама, но я и без этого ощущаю, что мир неожиданно сделался опасным, чужим и злым, поэтому следует быть начеку. Иду с сестрой рядом с фурманкой, это обычная телега с решетчатыми боками, заполненная сеном; высоко на сене, на льняном полотнище, лежит мой дед. Он не может пошевелиться, он парализован. Когда начинается налет, вся терпеливо странствующая, а тут вдруг охваченная паникой толпа прячется во рвах, укрывается в кустах, ложится в картофельные поля. На опустелой, вымершей дороге остается только фурманка, на которой лежит мой дедушка. Он видит летящие на него самолеты, видит, как они резко пикируют, берут на прицел брошенную на дороге телегу, видит, как ведется огонь из бортового оружия, слышит рев проносящихся над его головой машин. Когда самолеты исчезают, мы возвращаемся к фурманке, и мать утирает деду залитое потом лицо. Иногда налеты повторяются несколько раз в день. После каждого налета по исхудалому, измученному лицу деда струится пот.

Нас обступает все более мрачный пейзаж. Далеко на горизонте вздымается дым, мы минуем пустые селения, одинокие сожженные дома. Проходим мимо полей битвы, усеянных брошенным снаряжением, разбомбленных железнодорожных станций, опрокинутых набок автомашин. Пахнет порохом, гарью, разлагающимся мясом. На каждом шагу конские трупы. Конь — крупное, но беззащитное животное, он не умеет прятаться, во время бомбежки стоит неподвижно, ждет смерти. Всюду трупы лошадей: то прямо на дороге, то рядом, во рву, то где-то подальше в поле. Они лежат с задранными вверх ногами, грозя копытами миру. Нигде не видать человеческих останков, погибших быстро хоронят. Одни сплошные трупы лошадей — гнедых, каурых, пегих, буланых, словно войну ведут не люди, а лошади, словно это они вели друг с другом смертный бой и стали единственными жертвами этой борьбы.

Наступает тяжелая, суровая зима. Когда нам плохо, мы острее ощущаем холод, стужа сильнее пронизывает; для людей, живущих в нормальных условиях, зима — просто очередное время года, ожидание весны, зато для бедных и бесприютных зима — это крах, катастрофа. Но первая военная зима и вправду была суровой. В нашей квартире печи холодные, а стены покрыты белым пушистым инеем. Топить нечем: дров не купишь, а украсть нельзя. За кражу угля — смерть, за кражу дров — смерть. Человеческая жизнь теперь ничего не стоит, не дороже куска угля или полена. Есть нам нечего. Мама часами простаивает у окна, я вижу ее неподвижный взгляд. Во многих окнах можно заметить поглядывающих на улицу людей — видно, они на что-то надеются, чего-то ждут. С группой мальчишек я шатаюсь по дворам: то ли это игра, то ли поиски чего-нибудь съестного. Подчас из-за чьей-нибудь двери доносится аромат варящегося супа. В таких случаях один из моих приятелей, Вальдек, сует свой нос в дверную щель и начинает быстро, лихорадочно вдыхать этот запах, с наслаждением поглаживая себя по животу, словно сидит за обильно уставленным столом, но минуто спустя он помрачнеет и снова погружается в апатию. Однажды мы услышали, что в лавке возле рынка будут давать конфеты. Мы тотчас же выстроились — плотная очередь иззябших, голодных детей. День клонится к вечеру, смеркается. Мы стоим на морозе весь вечер, ночь и следующий день. Стоим, прижавшись, обнимая друг друга, чтобы хоть немного согреться и не замерзнуть. Наконец лавка открывается, но вместо конфет каждый из нас получает пустую жестяную банку от леденцов (куда подевались сами конфеты, кто их забрал, не знаю). Ослабший, одеревеневший от холода и все-таки счастливый, я несу свою добычу домой — это ценность: на стенках банки сохранился сахарный налет. Теперь мать греет воду и выливает в банку — мы получаем сладковатый горячий напиток, единственную нашу еду.

Потом мы снова в пути: из нашего родного городка Пинска отправляемся на запад, потому что там, говорит мама, в деревне под Варшавой, — наш отец. Отец был на фронте, попал в плен, бежал из плена и учит детей в сельской школе. Теперь, когда мы, те, кто в годы войны был детьми, вспоминаем то время и говорим “отец” или “мать”, то в силу серьезности этих слов забываем, что наши матери были молодыми женщинами, а наши отцы — молодыми мужчинами и что они крайне тосковали друг по другу, жаждали быть вместе. Моя мать тоже была тогда молодой, поэтому она продала все, что было в доме, наняла фурманку, и мы поехали искать отца. Мы нашли его случайно. Проезжая через деревню, которая называется Сераков, мать вдруг крикнула проходившему по дороге мужчине: “Дзюдек!” Это и был мой отец. С того дня мы жили вместе в крохотной коморке без света и воды. Едва темнело, как мы отправлялись спать, потому что не было даже свечки. Голод пришел сюда вслед за нами из Пинска, я все время искал чего бы съесть — корку хлеба, морковку, что угодно. Как-то отец, не видя иного выхода,



сказал в классе: “Дети, кто хочет завтра прийти в школу, должны принести по картошке”. Отец не умел торговать, не умел вести дела, жалованья не получал и потому счел, что у него выход один: попросить у своих учеников несколько картофелин. Назавтра полкласса вообще не явились. Некоторые дети принесли по половинке, другие — по четвертушке картошки. Целая картофелина — это было настоящее богатство.

Возле моей деревни лес, в том лесу, у селения по имени Пальмиры, есть поляна. Там эсэсовцы проводят казни. Сначала расстреливали по ночам, и тогда мы просыпались от глухих, равномерно повторявшихся залпов. Потом стали расстреливать и днем. Приговоренных привозят в закрытых темно-зеленых фургонах, в конце колонны едет на грузовике расстрельный взвод. Эти, из взвода, всегда в длинных шинелях, словно длинная, стянутая ремнем шинель — обязательный реквизит ритуала убийства. Когда проезжает такая колонна, мы, ватага деревенских детей, наблюдаем за ней, укрывшись в придорожных кустах. Вскоре за заслоном деревьев начинается вершиться нечто, на что нам глядеть не положено. Я чувствую, как по спине у меня бегают холодные мурашки, как я весь дрожу. Затаив дыхание, мы ждем залпов. Вот и они. Потом доносятся одиночные выстрелы. Некоторое время спустя колонна возвращается в Варшаву. В конце колонны на грузовике едут эсэсовцы из расстрельного взвода. Они курят сигареты, переговариваются.

Ночью приходят партизаны. Я вижу, как их лица вдруг появляются в окне, прижатые к стеклу. Когда они сидят за столом, я присматриваюсь к ним, всегда волнуемый одной и той же мыслью: они могут погибнуть уже сегодня, они как бы отмечены смертью. Разумеется, погибнуть могли мы все, но они шли навстречу такой возможности, противостояли ей. Как-то они явились, как всегда, ночью. Стояла осень, и шел дождь. Они о чем-то говорили с матерью шепотом (отца я не видел уже месяц, и это продолжалось до конца войны: он скрывался). Нам предстояло быстро одеться и уйти: в округе проводилась облава, в лагерь вывозили целые деревни. Мы бежали в Варшаву, укрылись по указанному нам адресу. Я впервые оказался в большом городе, первый раз увидел трамвай, высокие, многоэтажные каменные дома, большие магазины. Как мы снова потом очутились в деревне — я не помню. Это была какая-то новая деревня, по другую сторону Вислы. Помню только, что я вновь иду рядом с фурманкой и слышу, как через деревянные спицы колес пересыпается песок теплой проселочной дороги.

Всю войну я мечтал обзавестись башмаками. *Иметь ботинки*. Но как их раздобыть? Что сделать, чтобы их иметь? Летом я хожу босиком, и кожа у меня на подошвах твердая, как ремень. В начале войны отец сшил мне бурки, но он не был сапожником, и обувка получилась безобразной, а кроме того, я подрос, и они мне стали малы. Я мечтал о крепких, массивных, подкованных ботинках, которые при ударе о мостовую издают громкий, отчетливый звук. Тогда была мода на сапоги, голенище было символом мужественности и силы. Я мог часами любоваться хорошими ботинками, я обожал блеск кожи, любил слушать ее скрип. Но речь шла не только о красоте добротной обуви, ее удобстве и уюте. Солидная обувь служила воплощением престижа, власти и господства; старые, разбитые башмаки были знаком унижения, клеймом человека, которого лишили всякого чувства собственного достоинства и обрекли на жалкое прозябание. Иметь хорошие ботинки — значило быть сильным. И даже просто *быть*. Но в те годы все пригрезившиеся мне ботинки, когда я встречал их на улицах и дорогах, проплывали мимо, полные безразличия. Я так и остался (думая, что это уже навсегда!) в тех топорных башмаках на деревянной подошве и с черным брезентовым верхом, которому я с помощью какой-то ваксы безуспешно пытался придать блеска.

В 1944 году я стал прислуживать ксендзу. Мой ксендз был капелланом полевого госпиталя. Ряды замаскированных палаток, укрытых в сосновом бору, располагались по левую сторону Вислы. Во время Варшавского восстания, еще до того, как началось январское наступление, здесь царил лихорадочная, изнуряющая суэта. С фронта, который погромывал и дымил поблизости, стремительно подъезжали санитарные машины. Привозили раненых, часто без сознания, уложенных в спешке и беспорядочно друг на друга, как мешки с зерном (да только мешки, истекавшие кровью). Санитары, сами едва живые от усталости, вытаскивали раненых и клали на траву, затем брали шланг и обдавали мощной струей холодной воды. Тех, кто подавал признаки жизни, несли в палатку, где располагалась операционная (перед ней, прямо на земле, ежедневно возникала гряда ампутированных рук и ног), кто же больше не пошелохнул, тех относили к обширной могиле, что находилась на тылах госпиталя. Именно там, над этой необъятной могилкой, я и стоял часами рядом с ксендзом, держа перед ним требник и кропило. Я повторял вслед за ним молитву по умершим. Каждому из павших мы говорили “Аминь”, десятки раз



на дно “Аминь”, в спешке, ибо где-то рядом, за лесом, машина смерти работала без передышки. Пока наконец однажды не сделалось пусто и тихо — движение санитарных машин прекратилось, палатки исчезли (госпиталь перебрался на запад), в лесу остались одни кресты.

Что было дальше? Теперь, когда я переписываю несколько страниц из книги о моем военном времени (книги, которую я так и не написал), я задумываюсь над тем, как выглядели бы ее последние страницы, ее завершение, эпилог. Что было бы там сказано о конце большой войны? Думаю, ничего — то есть ничего окончательно закрывающего дело. Ибо в некотором, но существенном смысле война для меня не кончилась ни в 1945-м, ни вскоре после того. По-разному что-то из нее продолжалось и дальше, а что-то продолжается и по сей день, поскольку, думаю, для тех, кто пережил войну, она никогда окончательно не завершится. Согласно верованиям, бытующим у африканских племен, человек на самом деле умирает только тогда, когда умрет последний из тех, кто знал его и помнил. Это значит: человек перестает существовать, когда в мир иной отойдут все, хранящие память о нем. Нечто подобное — и с войной. Те, кто пережил ее, никогда от нее не избавятся. Она осталась в них, как невидимый горб, как наболевший нарост, которого не в силах удалить даже такой прекрасный хирург, как время. Прислушайтесь к встрече тех, кто пережил войну. Когда они соберутся и сядут вечером за стол. Неважно, о чем они поведут разговор. Тем может быть множество, но закончат они одним — воспоминаниями о войне. Эти люди даже в изменившихся условиях мирной жизни будут мыслить образами войны, накладывая их на любую новую действительность, с которой они уже неспособны полностью отождествиться, так как эта действительность — настоящее время, а они одержимы прошедшим временем, постоянным возвратом к тому, что они пережили и как им удалось выжить. Их сознание — маниакально повторяемая ретроспекция. Но что это значит — мыслить образами войны? Это значит видеть, как все существует в крайнем напряжении, дышит жестокостью и страхом. Потому что военная действительность — это мир предельной манихейской ограниченности, которая устраняет мягкие, теплые промежуточные тона, сводя все к резкому агрессивному контрапункту — белому и черному, к самой первородной борьбе двух сил — добра и зла. Больше никого на поле боя! Только добро, то есть мы, и зло — то есть все, что стоит у нас на пути, что противодействует и что мы оптом втискиваем в зловещую категорию врага. Образ войны пропитан атмосферой силы, силы физической, материальной, ежеминутно с хрустом и клубами дыма взрывающейся, непрерывно кого-то атакующей, грубо проявляющейся в каждом движении, в каждом ударе сапога по мостовой, приклада по черепу. В таком мышлении любая ценность соотносится с мерилем силы в качестве единственного критерия: в расчет принимается только сильный, его правота, его окрик, его кулак. Потому что решить любой конфликт стремятся не компромиссами, а уничтожением противника. Все это происходит в обстановке нагнетания эмоций, экзальтации, ярости и ожесточения, в которой мы чувствуем, как нас оглушают, стравливают друг с другом, но прежде всего испытываем тревогу. Мы движемся в пределах такого мира, где взгляды окружающих полны ненависти, челюсти сжаты, а жесты и голоса вызывают ужас.

Я долго думал, что это единственный существующий мир, что мир так выглядит, что так выглядит жизнь. Это и понятно: годы войны пришлось на мое детство, а потом на начало созревания, первого постижения окружающего, пробуждения сознания. Потому мне и представлялось, что не мир, а война — естественное и даже единственное состояние, единственная форма существования, что скитания, голод и страх, налеты и пожары, облавы и расстрелы, ложь и крики, презрение и ненависть — это естественный и извечный порядок вещей, содержание жизни, суть бытия. Поэтому, когда неожиданно смолк орудийный гул, когда отзвучал грохот рвущихся бомб и внезапно наступила тишина, я был изумлен этой тишиной, не зная, что она означает и что это такое. Думаю, что кто-то взрослый, услышав эту тишину, мог бы сказать: “Кончился ад. Наконец вернулся мир”. Но я не помнил, что такое мир, для этого я был слишком мал: когда кончилась война, я знал только ад.

Проходил месяц за месяцем, а война постоянно напоминала о себе. Я по-прежнему жил в городе, обращенном в пепелище, карабкался на горы щебня, плутал в лабиринтах руин. В школе, где я учился, не было ни полов, ни окон, ни дверей — все выгорело дотла. У нас не было ни книг, ни тетрадей. Я так и не разжился ботинками: война как горе, как нужда, как бремя все еще продолжалась. Я по-прежнему был бездомным. Возвращение с фронта домой — самый осязаемый символ окончания войны. Tutti a casa! [Все по домам!] Но я не мог вернуться домой, мой дом теперь был за границей, в другой стране. Как-то после уроков мы играли в ближнем парке в футбол. Один из ребят, погнавшись за мячом, нырнул в кусты. Раздался страшный грохот, нас швырнуло наземь: наш товарищ погиб от мины, кото-



рая еще оставалась в земле. Война по-прежнему нас подстерегала, не желая капитулировать. Она ковыляла по улицам, подпираясь деревянными костылями, размахивала на ветру пустыми рукавами. Тех, кто ее пережил, она мучила по ночам, напоминая о себе в дурных снах.

Но прежде всего война продолжалась в нас самих, ибо пять лет она воздействовала на формирование наших юных характеров, нашей психики, нашего склада ума. Она стремилась их деформировать и разрушить, подавая наихудшие примеры, принуждая к недостойным поступкам, выводя наружу недобрые чувства. "Война, — писал в те годы Болеслав Мицинский, — уродует не только души захватчиков, но отравляет ненавистью, а значит, уродует и души тех, кто стремится захватчикам противостоять". И поэтому, добавляет он, "я ненавижу тоталитаризм за то, что он научил меня ненависти". Да, выйти из войны значило внутренне очиститься, прежде всего очиститься от ненависти. Но много ли таких, кто предпринял в этом направлении серьезные усилия? Многим ли это удалось? Вероятно, это был мучительный и долгий процесс, который не мог совершиться внезапно, в один день, поскольку душевные и нравственные травмы, полученные в этом пожарище, были глубокими.

Когда заходит речь о 1945 годе:

Меня раздражает определение, какое подчас приходится слышать по этому поводу: радость победы. О какой радости здесь можно говорить? Погибло столько людей! Миллионы жертв преданы земле! Тысячи потеряли руки и ноги. Лишились зрения и слуха. Утратили рассудок. Всякая смерть — это несчастье. Конец всякой войны трагичен: да, мы выжили, но какой ценой! Война доказывает, что человек как существо, наделенное разумом и чувством, не выдержал испытания, просчитался, потерпел поражение.

Когда говорят о 1945 годе:

Где-то летом того самого года моя тетка, которая чудом уцелела во время Варшавского восстания, привезла к нам в деревню родившегося во время восстания сына Анджея. Ныне это сорокалетний мужчина, и, глядя на него, я думаю: как давно все это было! Какое уже по счету нарождается поколение, понятия не имеющее о том, что такое война. Однако же те, кто выжил, должны свидетельствовать. Свидетельствовать от имени тех, кто пал подле них, а часто и за них. Свидетельствовать о том, чем были лагеря, уничтожение евреев, разрушение Варшавы и Вроцлава. Легко ли это? Трудно. Мы, те, кто пережил войну, знаем, как трудно передать правду о ней тем, кому, к счастью, этот опыт неведом. Мы знаем, как подводит нас язык, как подводят слова. Как все это по сути дела непередаваемо, как часто мы ощущаем свое бессилие (кто-то говорит мне в Чикаго: "Его забрали в Освенцим? А почему он согласился? Почему не взял адвоката?"). Но, несмотря на все эти трудности и ограничения, которые мы должны сознавать, мы обязаны говорить. Ибо, говоря обо всем этом, люди не разделяются, а сближаются, между ними протягивается нить взаимопонимания, нить общности. Мертвые нас наставляют. Они доверили нам нечто важное, и теперь мы обязаны чувствовать ответственность. В той мере, в какой мы способны противостоять всему, что может породить новую войну, породить преступление, привести к катастрофе. Ведь мы, пережившие войну, знаем, как она начинается и откуда берется. Мы знаем, что начинается она не только бомбами и ракетами. Знаем, что она также, а может быть, прежде всего начинается фанатизмом и спесью, глупостью и презрением, невежеством и ненавистью. Поэтому, как "зеленые" борются с загрязнением атмосферы, выступая против выхлопных газов и задымления, так мы обязаны бороться против отравления межчеловеческих отношений невежеством и ненавистью.

Когда говорят о 1945 годе:

Я думаю о тех, кого уже нет среди нас.

Когда говорят о 1945 годе:

*Утихла дикая тревога,
И не бушует в жилах кровь:
В душе воскресла вера в Бога,
Воскресла к ближнему любовь
(И.В.Гёте. Фауст)*

Лишь бы так оно и было. Лишь бы так и было.



Славомир Поповский

ТРЕТЬЯ НАДЕЖДА РОССИЯН

Первые впечатления - всегда самые важные. После нескольких лет отсутствия я снова в Москве, где прежде уже провел многие годы. Я брожу по городу, смотрю по сторонам, беседую с людьми и замечаю перемены, которые мне не удалось заметить, когда я приезжал сюда на несколько дней, чтобы хоть чуть-чуть "подзарядить аккумулятор" и освежить свой багаж знаний о сегодняшней России, которые – увы! – все чаще и чаще оказывались почерпнутыми из корреспонденций и депеш моих коллег.

Разумеется, по Москве нельзя судить о всей России. Но так было и прежде. Сегодня столица выглядит чище, в ней больше порядка и, если можно так выразиться, уверенности в себе. Когда-то в московской толпе у меня было ощущение, что я нахожусь среди людей, которые глядят друг на друга волком и готовы в любой момент дать отпор агрессии. Достаточно было выйти из самолета или поезда, чтобы столкнуться с самым обычным хамством или враждебностью. В советские времена, в начале второй половины восьмидесятых годов, улыбка на лицах прохожих появлялась лишь изредка. Например, люди обычно улыбались, когда я шел в магазин на Ленинском проспекте с Густавом, моим бассетом. Эта порода собак была тогда в Москве редкостью, а хозяйкой одного из ее немногочисленных представителей была сама Алла Пугачева.

Теперь я все чаще замечаю лица улыбающихся, раскованных людей. Пару раз произошло даже нечто небывалое: человек, выходящий впереди меня из метро, придержал двери, чтобы невзначай не ударить меня распахнувшейся створкой. А в другой раз остановилась машина и пропустила меня на переходе. Вот это действительно настоящая революция, и каждый, кто побывал в советской, а потом российской столице согласится с этим.

Надежда первая: антикоммунистическая

Когда я впервые начал работать корреспондентом в Москве, была осень 1985 г. Шестью месяцами раньше Михаил Горбачев стал Генеральным Секретарем КПСС, и по случаю очередной годовщины Октябрьской революции тогда опубликовали "Тезисы XXVII Съезда КПСС". Никто и не предполагал тогда, что это начало конца коммунистической системы. Более того, никто, кроме, быть может, немногочисленных групп диссидентов, об этом даже не думал. Но потом Горбачев сказал "А", затем – "Б" и "В", чем задействовал то, что я называю "логикой алфавита". Когда он дошел до последней буквы, алфавит кончился, и система перестала существовать.

Как тогда жилось в Москве? Намного труднее, чем в Польше, хотя и в Польше было нелегко. В те времена в СССР работало более десятка, а может несколько десятков тысяч поляков, включая простых рабочих на строительстве "трубы", т.е. газопровода, а также в Магнитогорске, на в рамках долгосрочных проектов.

Настоящим "поездом дружбы" был тогда "Полонез" – гордость польских железных дорог на восточном направлении и, кажется, единственный несоветский поезд, который имел регулярное сообщение с Москвой. Он сидел бельмом на глазу у всех остальных членов СЭВ, и за его выживание велась острая борьба. "Полонезом" тогда возили все, что только могло уместиться в купе: цветные телевизоры "Рубин" и "Горизонт", стиральные машины и холодильники, масляные радиаторы, гладильные машины "Калинка" – все, чего не было в Польше, не говоря уже о таких традиционных "статьях импорта", как икра, изюм, бананы, мандарины, какао, кофе и т.п. Об этом стоит вспомнить всякий раз, когда мы начинаем хвалиться своим экономическим чудом. Но в конце 80-х годов все эти товары были уже недоступны на советском рынке; это был, как говорили русские, "*острейший дефицит*", и приобрести их можно было исключительно за взятку.

Меня неоднократно охватывал стыд за своих земляков, которые (особенно в пьяном состоянии) пытались показать россиянам превосходство своей "цивилизованности". Но при этом в те времена мне ни разу не довелось услышать из уст россиянина хотя бы робкий протест против "подвигов" моих соотечественников на ниве коммерции.

Как же жилось тогда в Москве? Прямо скажем, паршиво. Все больше не хватало товаров первой необходимости. "*Иностранцы*", такие, как мы, могли еще рассчитывать на так называемые "*заказы*",



которые раз в неделю привозили на дом. Но каждый раз это была игра в рулетку. Заказываешь сахар, а привозят соль. Записываешься на мясо, а получаешь конфеты или какие-нибудь шпроты в масле, или, как это было в конце, вообще ничего не получаешь. Нашему сыну тогда было 5 лет, и моя жена научилась искусству быстрого домашнего производства творога, которого не было в магазинах. Для этого нужны были молоко, кефир и сметана. Все это она как-то кипятила, пропускала через марлю, и на следующий день творог был готов. Проблема заключалась в том, чтобы все эти три компонента купить в один и тот же день...

В Польше тогда смеялись над московскими анекдотами об очередях за водкой и об объявленном Горбачевым частичном “сухом законе”. Однако жителям СССР было не до смеху. Они в буквальном смысле слова боролись за свое существование. Их повседневностью стали зловонные магазины с позеленевшими остатками мяса на костях, вонючей рыбой, гнилой картошкой и – в летний сезон – помоями помидорами и клубникой, которая продавалась в герметически упакованных полиэтиленовых пакетах в виде клубничной каши пополам с песком. Но в конце концов, где-то в 1990 году, не стало и этого. Впрочем, и без того нищенская зарплата обесценилась полностью.

Долой КПСС!

Зато все больше места в жизни людей занимала политика. В 1987 г., когда Б.Н.Ельцина отстранили от руководства московской парторганизацией, в Москве, возле памятника Юрию Долгорукому, прошла первая официальная демонстрация в поддержку Ельцина, на которой – также впервые – появился плакат с лозунгом “Долой КПСС!” И демонстрацию при этом никто не разогнал.

Горбачев уверовал, что коммунизм можно реформировать и придать ему человеческое лицо, добавив к нему толику “управляемой демократии”, а также используя свободу слова, восстановление исторической справедливости и т.п. для борьбы с партийным крылом “твердолобых”. Он проиграл, и не мог не проиграть, ибо люди уже мыслили иначе, и одновременно исчез страх. Ельцин понял это раньше Горбачева.

Антикоммунизм и демократия стали первой великой надеждой россиян на лучшее государство и лучшую жизнь. Казалось, достаточно свергнуть КПСС, прогнать Политбюро, как все остальное произойдет само собой. Повысится зарплата, магазины заполнятся товарами, а Россия без промедления догонит цивилизованный западный мир, о котором все так мечтали.

Все начиналось скромно, с упомянутой выше демонстрации в поддержку Ельцина, в которой приняло участие всего несколько тысяч человек, но потом никто уже не мог остановить неудержимо движущейся лавины. В Москве появились первые организации так называемых “неформалов”, которые взял под свое крыло партийный комитет Брежневского (ныне Черемушкинского) района. Пресс-секретарем движения “неформалов” был нынешний главный политический советник Владимира Путина – Глеб Павловский.

В 1989 г., перед первыми полудемократическими выборами в советский парламент, количество неформальных общественных организаций исчислялось уже многими десятками. Во время одной из первых демонстраций новой демократической оппозиции в Лужниках друг рядом с другом развевались национальные литовские, латвийские, эстонские, армянские, украинские, грузинские, а также российские “триколоры”, флаги с андреевским крестом и стяги российской монархии. Лозунги были общими для всех: “Долой КПСС!”, “Коммунистических преступников под суд!”, “КПСС – на Нюрнбергский процесс!”...

Очередные демонстрации, организованные демократической оппозицией в 1990 г., проходили под теми же лозунгами. Они становились все более многочисленными. Сто тысяч, двести тысяч, полмиллиона...

Надежда вторая: либерально-демократическая

17-го, а может 18-го августа 1991 г. я вновь был в Москве. Тогда я начинал работу в качестве корреспондента газеты “Жечпосполита”. Чтобы “отметиться”, я написал какую-то заметку и лег спать. На следующий день, в шесть утра (т.е. в четыре по варшавскому времени) мне позвонил корреспондент газеты “Экспресс вечорны” Болек Поровский. Информация была сенсационной – Горбачев интернирован, перестройке конец, в Москву введены войска, начался переворот.

На машине я проехал вверх по Кутузовскому проспекту, считая по дороге проезжающие бэтээры и танки. В одной колонне я насчитал их около семидесяти. Они были везде: возле Белого Дома, где находился российский парламент, вокруг Кремля и КГБ на Лубянке, рядом с каждым более или менее важным правительственным зданием.



Корреспондент должен сдерживать свои эмоции, но я не удержался. Прохожие посылали вслед солдатам проклятья, а я вступал с ними в спор и толковал о польском опыте 1981 года – года военного положения.

Уже в первый день путча москвичи начали строить баррикады, защищающие доступы к Белому Дому. На мосту между Кутузовским проспектом и проспектом Калинина (ныне Новоарбатский) я заговорил с водителем, который поставил свой троллейбус поперек моста. Я спросил, почему он это сделал, и ожидал услышать от него пространное идеологическое обоснование. А он взял сумку с бутербродами, закрыл двери и пошел домой, бросив мимоходом: “велели перекрыть трассу, вот я и перекрыл”. И все. В нескольких десятках метров от этого места женщины организовали живую баррикаду, чтобы не пропустить к Белому Дому спецназовцев из группы “Альфа” – наиболее подготовленного отряда советских спецслужб, снискавшего себе известность в Афганистане. А еще в двухстах метрах дальше, возле гостиницы “Украина”, у входа в гастроном, выстроилась очередь пожилых женщин за мясными костями...

Путч продолжался три дня, и завершился трехдневной антикоммунистической революцией. Москва прощалась с первыми ее жертвами, которые погибли в самую беспокойную ночь, когда ожидался штурм на Белый дом, пытаясь задержать колонну бэтээров. По проспекту Калинина к зданию российского парламента лился многотысячный поток людей, несущих гигантский трехцветный российский флаг. Это была проральная, а точнее траурная манифестация, но одновременно эта манифестация была победоносной. Антикоммунистическая надежда сбылась: помещения всемогущего ЦК КПСС больше ему не принадлежали, а сама партия была запрещена. Ведь за это и боролись. Теперь наступит демократия и всеобщее процветание. Наступит если не сегодня, то завтра, самое позднее – через год. Так обещал Ельцин...

Богатство для “своих”

Надежды были огромными, и прежде всего – на спокойствие и достойную жизнь.

Россияне все это вынесли, хотя на протяжении менее чем двух лет во второй раз потеряли все свои сбережения. В первый раз, когда еще во времена Горбачева премьер-министр Валентин Павлов фактически провел обмен денег, и теперь, во второй – когда инфляция со дня на день пожирала все то, что было отложено на черный день.

Ельцин обещал, что через год будет лучше, а пока каждый крутился, как мог. В Польше сначала торговали прямо с “раскладушек”, потом появились металлические раскладные будки с товаром, а затем самые удачливые начали открывать оптовые склады или магазины... В России это выглядело иначе. Сначала появились коммерческие киоски с импортными сигаретами, алкогольными напитками и прочей мелочевкой, а для бедных были толкучки. Возле Белорусского вокзала прямо с газеты, разложенной на уличной грязи, белорусы за бесценок продавали “богатой” Москве то, что представляло какую-то ценность: кусок сала, провезенное контрабандой и уже совсем несвежее мясо, сахар и спички. Возле Киевского вокзала было то же самое, с той лишь разницей, что тут вместо белорусов торговали украинцы. На Тишинском рынке, где зелень и картошку покупали сотрудники польского посольства, какая-то старушка стояла с пустыми банками из-под пива и кока-колы. И, видимо, что-то ей удавалось продать, раз я встречал ее там в течение целого года.

Но это было время, когда создавались и подлинные состояния. Еще никто не построил капитализма без капитала, вот и Россия должна была пройти период, который в вышедшей ныне из моды марксистской терминологии именуется “периодом первоначального накопления”. Накопление осуществлялось мафией за счет рэкета или перекупки за бесценок появившихся в это время на рынке приватизационных ваучеров. Накоплением занимались и “красные директора”, получавшие в личную собственность акции приватизируемых госпредприятий. А также высокого ранга чиновники, от разрешения которых зависело распределение особых льгот и привилегий, а нередко требовалось лишь их согласие на подписание контракта.

Во внешней торговле в те времена придумано трехступенчатую систему, обеспечивавшую доступ к кормушке только “своим”. Требовалось сначала получить экспортную лицензию, затем добиться выделения “экспортной квоты”, а также заполучить так называемого спецэкспортера, без которого невозможно было реализовать подписываемый контракт. На практике это означало, что каждый должен был получить свой процент от цены подписанного контракта. Например, если две фирмы, (скажем, не польские) одновременно предлагали масло по двум конкурирующим ценам (одна – по 1200 дол. за



тонну, вторая - по 2000), то выигрывала последняя. Разницу в 800 долларов делили между собой участники сделки...

Российские публицисты-моралисты назвали этот период этапом "криминальной революции". Однако, перефразируя одно из высказываний "крестного отца" российских либералов-реформаторов, автора концепции ваучерной приватизации, а ныне главу РАО ЕЭС и одного из крупнейших олигархов России Анатолия Чубайса, можно задаться вопросом: кто в российских условиях должен был приватизировать российскую экономику, если на протяжении нескольких десятков лет коммунистического режима была уничтожена не только всякая собственность, но и само понятие собственности? Разве сегодня, убеждали в свое время либералы, кто-нибудь спрашивает об источниках богатства Морганов, Рокфеллеров или Фордов?

Ты, демократка...

Десять лет правления Бориса Ельцина модно разделять на два периода: до октябрьского путча и первой чеченской войны и от путча и первой чеченской войны до второй чеченской войны и добровольной передачи власти.

До октябрьского путча 1993 г. Ельцин все еще мог выступать в роли антикоммунистического реформатора. Позже он был уже только новым царем, сменяющим "козлов отпущения" и взращивающим очередных фаворитов и очередные "партии власти". Впрочем, это вполне соответствовало советской традиции, где "кадры решали все".

Весь период моего второго, на сей раз четырехлетнего пребывания в Москве был временем прощания россиян с перестроечными, либеральными надеждами и с ельцинским мифом. Уже спустя несколько месяцев после объявления "шоковой терапии" тот самый парламент, что раньше, в августе 1991 г., встал на сторону Ельцина против путчистов, теперь требовал его головы или по крайней мере ограничения власти, что сводилось к тому же самому.

Раньше я писал для газеты о мощных демонстрациях антикоммунистической демократической оппозиции. Теперь их место на улицах Москвы заняли демонстрации коммунистической оппозиции. Они уже не были столь многочисленны, как те, первые, но наверняка отличались еще большей решимостью...

В конце сентября 1993 г. мы с женой проезжали на машине возле российского парламента, когда внезапно оказались окруженными разгневанной толпой, которая направлялась к Белому Дому на очередную демонстрацию в поддержку депутатов, борющихся с Ельциным. Я был вынужден остановиться, и когда жена приоткрыла окно, чтобы узнать, что происходит, одна из разъяренных "бабушек", которая еще помнила времена Сталина, видя наш желтый "корреспондентский" номер машины, говорящий о том, что мы иностранцы, не выдержала – ударила кулаком по крыше машины и, задумавшись, какое бы тут придумать ругательство, через минуту выпалила: "Ты... ты... демократка, вот ты кто!"

Домой мы возвращались уже кружным путем. Когда проезжали по Новоарбатскому проспекту, вдали, возле Смоленской площади, была видна очередная коммунистическая демонстрация. Не обошлось без палок, слезоточивого газа и камней. Погиб один человек.

Спустя несколько дней Белый Дом был окружен заграждениями из колючей проволоки и войсками. 3 октября очередная коммунистическая демонстрация в буквальном смысле снесла все эти барьеры и сняла осаду с Думы, а через несколько часов вооруженные отряды боевиков приступили к захвату ельцинского, т.е. правительственного, телевидения в Останкино. Погибло несколько десятков человек, в основном зевак. На следующий день на рассвете, после бесконечной ночи ожидания, когда в Москву введут войска, от моего дома на Кутузовском проспекте (это был дом №9) пошли танки. Они двинулись на захват взбунтовавшегося против Кремля парламента, большинство которого составляли коммунисты и националисты.

За Ельцина тогда были почти все бывшие демократы, даже Елена Боннэр, которая позднее, в конце 90-х годов, стала его самым непримиримым критиком. Против ожидаемого силового решения конфликта между парламентом и президентом протестовали лишь двое интеллектуалов-демократов, бывшие диссиденты Андрей Синявский в Париже и Михаил Гелфтер в Москве. Комментарий последнего опубликовала "Жечпосполита". Позднее Елена Боннэр призналась, что она пыталась опубликовать его в одной из ведущих французских газет, но редакция отказала, сочтя материал слишком ... левым.

Надежда третья: путинская

В третий раз я прибыл в Москву на длительный срок, и все, что произошло здесь прежде, напоминает все более отдаленную историческую эпоху, если не доисторические времена. Что случилось с героями



перестройки? Галина Старовойтова погибла в результате покушения на ее жизнь, затравленный Анатолий Собчак умер от инфаркта, Сергей Станкевич эмигрировал в Польшу, но все еще надеется на возвращение в российскую политику. Эти имена простым россиянам теперь уже ничего не говорят, хотя мало кто помнит и об очередных героях эпохи Ельцина. Все еще участвует в политической жизни Егор Гайдар, но и он уже находится как бы в стороне. Генерал Александр Лебедь, надежда демократов-патриотов, увяз в Красноярске, а Александр Руцкой, которого в течение двух дней октябрьского путча даже именовали временным президентом России, отсиживается в глубинке в качестве губернатора Курской области...

То же происходит и с другими бывшими звездами российской политики, выдвинутыми Борисом Ельциным по случаю смены очередных “козлов отпущения”. Они отходят в тень, а их место занимает совершенно новое поколение политиков, не отягощенных прошлыми идеологическими спорами и конфликтами, более образованных и более прагматичных, но с другой стороны, по-видимому, более холодных, решительных, а может и более расчетливых.

Создается впечатление, что россияне, которые в большинстве своем в социологических опросах весьма критически оценивают “эпоху Ельцина” (пропорция примерно составляет 4:1), как бы замкнули некий этап своей истории и теперь все начинают с самого начала.

Экономика России находится в катастрофическом состоянии. Из опубликованных недавно данных следует, что величина российского валового внутреннего продукта (ВВП) в 45 раз меньше соответствующего американского показателя, в 19 раз уступает японскому и в 11 раз – немецкому. В пересчете на душу населения Россия проигрывает даже Чехии – причем в четыре раза. В результате, – утверждает московский политолог Вячеслав Никонов, – новый российский президент напоминает наследника миллионера, которые открыл конверт с завещанием и убедился, что унаследовал миллионные долги. Самое главное, однако, что это осознают все, вещи называются своими именами, а это вселяет надежду.

Надежды сейчас снова выросли, быть может, даже больше, чем требует благоразумие. Однако, по мнению либерального экономиста Михаила Задорнова, впервые за десять лет конъюнктура на мировых рынках выгодна для России, а макроэкономическая ситуация лучше, чем когда-либо за последний десятилетний период, поэтому можно рассчитывать на годовой прирост в пределах 4%. И россияне, утверждает Задорнов, уже могут это почувствовать: их реальные доходы по сравнению с февралем прошлого года возросли на 10%. Более того, считает он (и то же самое говорит новый экономический советник Путина, считающийся крайним либералом, Андрей Илларионов), впервые за многие годы благодаря тому, что доходы превысили расходы, России представилась возможность выполнить свой бюджет без зарубежных кредитов...

И вновь начинаются дискуссии, как оздоровить Россию, как реформировать государство и его политическую систему, а все это вместе создает атмосферу с новым интеллектуальным брожением. И, видимо, только время покажет, насколько подтвердится известное изречение Виктора Черномырдина, который самым лаконичным образом подытожил российскую историю: “Хотели как лучше, а получилось как всегда...”
* * *

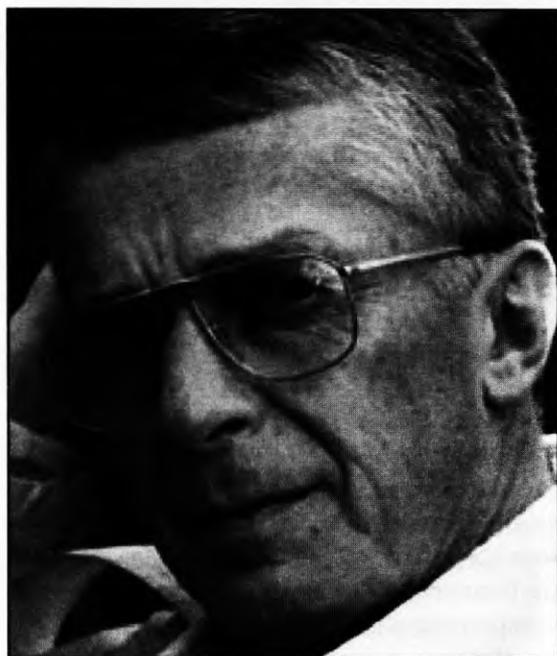
Мой знакомый Дима – оптимист. Когда мы вместе ехали навестить его бабушку в Ильино, он был безработным. Потом он вдвоем с другом основал собственную фирму, начал поставлять из Польши сборные элементы мебели и собирать ее в Москве. Поначалу ему диктовали условия, требуя стопроцентной предоплаты, но позднее он уже сам мог выбирать польских поставщиков. Он открыл большой мебельный магазин. Я спросил, как он пережил августовский крах, который разорил многих подобных ему быстро разбогатевших “новых русских”. “Было тяжело, – ответил он, – До кризиса у нас был оборот более миллиона долларов в месяц, а теперь только около трехсот тысяч. Но дело вновь раскручивается”. Продолжает ли он торговать с поляками? “Очень редко, чаще с итальянцами. К тому же, – добавляет он, – то же, что и вы, теперь производят наши мебельные фабрики, поэтому это перестало быть выгодно. Вас вытесняют с рынка”.

Дима голосовал за Владимира Путина по убеждению. “Такой, как он, – объясняет Дима, – был нужен России. Какая разница, что он из КГБ?”. И смеясь добавляет: “Кто-то в конце концов должен навести порядок в этом бардаке. Только бы он не наделал новых глупостей и дал людям жить – остальное мы сделаем сами”.



Лех Фаландыш

МГНОВЕНЬЕ МОСКВЫ

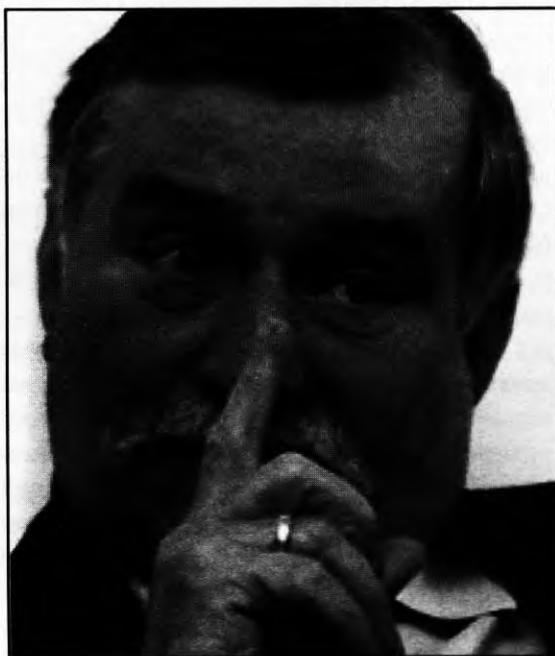


Благодаря любезности и стараниям Марек Зелинского, директора Польского института в Москве, я впервые в жизни побывал в столице России. Во времена ПНР я не воспользовался возможностью посетить СССР, твердя, что добровольно туда никогда не поеду. Просто не хотелось погружаться в еще большую тоску. В 2000 году прежний зарок меня уже не связывал.

Моя Баська исповедует принцип знаменитых певцов Яна Кепуры и его жены Марты Эггерт — те никогда не летали одним и тем же самолетом. Вот и мы поехали на поезде. Для поляков, проникнутых трагическим духом новейшей истории, первая поездка по железной дороге на восток связана с некоторыми эмоциями. Однако дело кончилось тем, что мы спокойно проспали всю дорогу по “бесчеловечной земле” в удобном, хотя и

Лех Валенса

**ПОЛИТИКА
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ**



Вот и нет у нас коалиции. Две недели назад я такое развитие ситуации предсказывал. Однако трудно быть Кассандрой в своем отечестве. Опыт правительства меньшинства для демократии важен. Я не раз повторял, что с демократией — как с плаванием. Невозможно обучиться ей теоретически. Так что в нашей практической школе демократии такой урок может быть поучителен во всех отношениях.

Меня много раз спрашивали за границей, что я думаю о польском кризисе. Обычно я отвечал так: что это за кризис, на который биржа реагирует повышением курса злотого? Биржа, денежная политика — очень хороший показатель внутренней политики. Бизнесмены — не филантропы, свои оценки они ставят без снисхождения.

Коалиция ИДС [“Избирательного действия Солидарность”] и УС [“Унии свобо-



грязноватом, варсовском купе первого класса.

На Москву у нас было почти все воскресенье. Директор Зелинский сначала накормил нас обедом, а потом, вместе со своей русской женой, прямо-таки профессиональным гидом, показал нам город. Нас было двое, а гидов в конечном счете трое: оказалось, что мой ученый коллега с юридического факультета Варшавского университета, доктор Збигнев Щонска, который спокойно прилетел на самолете раньше нас, — тоже большой знаток России. Вместе с ним я должен был в понедельник участвовать в польско-русской дискуссии о праве в период преобразований.

Однако пока — солнечный день в воскресной Москве. Первое впечатление: это какой-то восточный вариант большого американского города. Ширь, даль, много машин. Начинаем с каких-то старых переулков, довольно длинных. Странная толпа и вечное торжище на Старом Арбате. Когда выходим на Новый Арбат, Баська фотографируется верхом на коне, подняв вверх руку, как какой-нибудь наполеоновский улан. Потом она на меня обиделась, что я не пригласил ее на танец на Манежной площади, где играл какой-то оркестр, а стар и млад просто-напросто танцевали. Много симпатичной молодежи, почти все расхаживают с бутылками пива, но нет никаких пьяных или небритых молодчиков в тренировочных костюмах. Можно ли представить себе нечто подобное в Варшаве?

В понедельник легкое волнение перед встречей. Договариваемся со Збышекком, что он, как пристало историку и государственному чиновнику, будет развивать тему мирной эволюции, а я охарактеризую революционные усилия и порывы. Пришло много гостей, и наше выступление в конце концов вылилось в своего рода двойной рассказ о новейшей истории Польши: Збышек спокоен, точен, деловит, логичен, а я все разукра-

ды”] была альянсом нездоровым. Возможно, эта встряска (помимо прочих изъятий, коалиция грешила непомерной спесью) приведет ее в нормальное состояние. Может быть, профсоюзы наконец займутся охраной интересов трудящихся, вместо того чтоб до обеда представлять интересы правительства, а после обеда — трудовой народ. Может быть, правительство, избавленное от партийных раскладов, перейдет к нормальной работе. Парадоксально: правительство меньшинства, которому отовсюду грозит дестабилизация, более стабильно. ИДС сможет править спокойнее, чем прежде, утихомиривая внутреннюю оппозицию перспективой сдачи власти. Правительства большинства всегда грешат чванством, правительства меньшинства по природе своей более скромны. А скромность — это то, что данному правительству нужно более всего. Оно будет выполнять план Бальцеровича, будет более дисциплинированным по отношению к “Унии свободы”, чем до развода с “униатами”. Может, это и не бархатная коалиция, зато дальнейшая совместная жизнь будет бархатной.

Важнее политика внешняя. В начале июня я был с визитом в Венгрии. Там я выдвинул “план Маршалла нового поколения”. Инициатива была очень тепло принята дипломатическим корпусом. Перед этим я направил письма обоим кандидатам в президенты США. Это не было ни замечено, ни использовано нашими средствами массовой информации. Все масс-медиа были поглощены правительственным кризисом и ничего кроме этого не видели. Оказывается, в Будапеште у нас нет своих корреспондентов. О стране почти соседней, о стране, вместе с которой мы вошли в НАТО и хлопчем о приеме в Европейский союз, у нас нет свежей информации. А ведь место отдельных партий на политической сцене не так важно, как место Польши в мире. Поэтому хорошо, что профессор Бронислав Геремек еще какое-то время останется министром иностранных дел.



шиваю байками о разгильдяйстве, импровизации и польском “как-нибудь обойдется”. Наши русские гости явно раскованы, настроены тепло и доброжелательно. Они видят, что мы приехали не поучать их, а делиться общими заботами.

Из краткого визита я вынес несколько неутешительных для нас соображений. Поляков в Москве вообще не видно: они туда просто не ездят. Нет их в знаменитой дипломатической академии, нет в военных училищах, нет в университете. Никто не изучает российский рынок. Все эти освобожденные поляками места занимают немцы, американцы, японцы, корейцы и Бог весть кто еще. Наши дети не учат русского языка, пограничники на немецкие деньги все плотнее конопатят восточную границу, что ведет к потерям в торговле с Востоком, а это миллиарды долларов ежегодно. Все это — вопреки старой польской традиции, предписывающей учиться на Западе, а зарабатывать на Востоке. Но что мы можем сказать сегодня русским, когда они напоминают, сколько польских ученых, исследователей, юристов, основателей университетов, военных, писателей, поэтов, художников вошли в историю русской культуры и науки?

Если мы и дальше будем так же пренебрегать отношениями с Россией, очень скоро мы останемся в полных дураках и фраерах. Наше место займут другие, и вот тогда-то — возможно, впервые в истории — мы окажемся перед угрозой настоящей утраты национального самоопределения. И Господь Бог в конце концов позабудет о той малой территории, которую некогда намеренно выделил нам между Россией и Германией, чтобы нам было чем заняться, чтобы мы не скучали, были осторожны, умны, предприимчивы и отважны.

Лех Фаландыш — профессор-юрист, бывший советник президента Леха Валенсы.

В Будапеште я, в частности, сказал: “Итак, я думаю, мы должны выдвинуть новый план Маршалла для Центральной и Восточной Европы, план Маршалла нового поколения. Ситуация после “холодной войны”, парадоксально, более опасна, чем после “горячей”. Центральная и Восточная Европа лежит в руинах. Тут падали не бомбы, пала экономическая система. Предприятия не разрушены, но их надо разбирать и ломать, чтобы начать производство на новых, новых принципах.

Соединенные Штаты в последнее десятилетие поспешили оказать Центральной и Восточной Европе огромную помощь. В страны региона перекачаны миллиарды долларов. Кое-что из этих денег использовано достойно и надлежащим образом, однако большую часть поглотила финансовая черная дыра. Особенно ясно видно это, как признают сами американцы, на примере России. Все происходит потому, что финансовые средства направлялись без плана, без общего замысла, нескоординированно и бесконтрольно. Мы просим: умерьте свою расточительность, начните действовать планомерно. Необходим, как я повторял неоднократно, план Маршалла нового поколения. Польша и Венгрия должны требовать этого не для себя — мы и так справляемся, — но для России и Белоруссии, Украины и Литвы, Румынии и Болгарии, для всей Центральной и Восточной Европы. Для наших потенциальных рынков сбыта и торговых партнеров. “Холодная война” выиграна, надо выиграть наступивший после нее мир. А мир — это всеобщая безопасность и возрастающее благосостояние обществ. Вот почему я решил направить обоим претендентам на пост президента США письма, где обращено внимание на важность этой проблемы”.

Мы должны проводить более активную внешнюю политику.

wprost



Ежи Стемповский

ПОЛЯКИ В РОМАНАХ ДОСТОЕВСКОГО



Ежи Стемповский (1893-1969) — писатель, критик, переводчик, один из самых выдающихся представителей польской культуры XX века. Родился в помещичьей семье, веками жившей на Украине. Его отец Станислав Стемповский, арестованный в студенческие годы в Дерпте за революционную деятельность, после снятия с него продолжавшегося несколько лет полицейского надзора редактировал в Варшаве либерально-демократический журнал и занимался публицистикой. Он также переводил с русского, в частности Салтыкова-Щедрина. Ежи Стемповский изучал философию и историю в Кракове, Мюнхене, Цюрихе и Женеве. После I мировой войны находился на польской дипломатической службе, в

Замечательный русский критик Н.К.Михайловский назвал Достоевского *“жестоким талантом”*. Это определение навсегда пристало к автору *“Братьев Карамазовых”* как особенно метко выделяющее его среди писателей его времени.

Сравнивая Достоевского с другими писателями, обладавшими чувством жестокости, такими, как Дефо, Флобер, Конрад или Жеромский, мы должны отдать пальму первенства Достоевскому. Быть может, ни один из великих художников слова не сумел в такой мере передать горечь унижения, никто не заставил так долго тянуться мучительные минуты унижения и стыда.

Эта особенность его таланта ярче всего проявляется именно там, где в его романах появляются поляки. Тема эта как будто разжигает его жестокость, доводит ее до исступления (и наоборот); как только начинаются отвратительные, наполняющие читателя ужасом и стыдом картины, он выводит на сцену поляков, которые с переходом действия романа на более спокойные рельсы тут же исчезают.

В романах Достоевского поляки нигде не выступают на первом плане. Это эпизодические фигуры, появляющиеся в моменты самого сильного сюжетного напряжения, бьющие читателя по чувствам, заставляющие его познать всю горечь человеческого падения и унижения. Именно в этих местах поляки с их болезненным самолюбием внезапно, посреди всеобщего скандала, оказываются уличенными в том, что они мошенники и негодяи. Из их карманов на глазах у всех остальных героев извлекают меченые карты и краденые деньги, и, опозоренных, лакеи выгоняют их за дверь. Во всех главных романах Достоевского это повторяется с поляками почти одинаково. Поляки неизменно выступают в них как мошенники и шулеры, и всякий раз их разоблачают, выставя на стыд и позор.

Показывая нам поляков падшими и бесчестными людьми, Достоевский сам же присуждает им жестокое наказание в виде величайшего унижения. Ничего не оставляет он и читателю, выводя поляков на сцену как будто только затем, чтобы тут же их казнить.

Польский читатель редко может устоять перед впечатлением, что такой образ поляков пристрастен, искажен неудержимой



жаждой унижить их и не соответствует олимпийскому взгляду на мир, который мы традиционно приписываем великим художникам.

Постараемся рассмотреть, в какой мере такое изображение поляков в романах Достоевского может мотивироваться художественно.

Чтобы отдать себе отчет в главных элементах этого вопроса, приведем несколько аргументов из прошедшей недавно дискуссии о бедняках в творчестве Шекспира.

В своей истории литературы, написанной с точки зрения марксизма, Эптон Синклер придерживается мнения, что Шекспир — буржуазный писатель, поскольку он показывал бедняков смешными фигурами, к которым нельзя относиться серьезно. По мнению Синклера, такое изображение бедняков искажено классовыми предрассудками.

Мнение Синклера кажется недостаточно обоснованным. Великий английский трагик смотрит на бедных и богатых с одной и той же дистанции. Он позволяет предназначению бедных и богатых, хороших и плохих *исполниться* вплоть до самого конца. Те, кого вознесла Фортуна, дорастают у Шекспира до трагически безумного величия. Растоптанные катятся вниз вплоть до смешного. Великий драматург не склоняется, чтобы поднимать падших или исправлять грешников. Пусть будут собою, говорит о них Просперо. Безмятежное приятие мира в целом, которое так восхищает у Шекспира, пожалуй, очищает его от обвинений предъявленных Синклером.

От имени пролетариата Синклер отрицает художественную истину Шекспира как искаженную классовыми предрассудками. От имени своих соотечественников польский читатель отрицает художественную истину Достоевского как искаженную национальными предрассудками и нетерпимостью писателя. Обоснован ли этот упрек больше, чем упрек Синклера?

Чтобы более объективно рассмотреть этот вопрос, следует учесть, что Достоевский никогда не бывал в Польше и не видел поляков, живущих в усадьбах из лиственницы, хозяйничающих в своих поместьях, пьющих “чистую” со своих винокурных заводов, — словом, в их натуральном виде, такими, как их видел и описывал в то же самое время, не менее уродливо, но совсем по-другому, к примеру, Август Вильконский, “хирург философии”.

Насколько нам известно, Достоевский знал только поляков-каторжан, поляков трагических, подвергнутых бесчестию и публичному бичеванию, шедших по этапу в цепях вместе с уголовниками, людей с неизлечимо сломленным, навсегда уязвленным самолюбием. В “Записках из Мертвого дома” Достоевский подметил вечно живое, неутолимое самолюбие своих сокаторжников-поляков. Их страданий, казалось, не смягчало ни время, ни сочувствие товарищей по несчастью, которых они чуждались и как будто презирали. Это одиночество их безутешного страдания делало их почти проклятыми.

частности участвовал в мирных переговорах с советской Россией в Риге (1920), был журналистом и публицистом, связанным с либеральным крылом лагеря Юзефа Пилсудского. В первые годы правления Пилсудского (1926-1929) занимал высокие посты в кабинете премьер-министра Бартеля. отошел от политики, когда усилились диктаторские тенденции Пилсудского, которые Стемповский в своих публикациях оценивал негативно. Одновременно Стемповский писал литературные эссе и занимался критикой в области литературы, изобразительных искусств и театра, печатаясь в важнейших журналах своего времени. Преподавал в Государственном институте театрального искусства. Принадлежал к масонской ложе, как и его отец, который был масоном высокой ступени. Широко общался с белоэмигрантами — русскими, украинцами и белорусами. Знал Мережковского, Савинкова и Петлюру. Дружил с Дмитрием Философовым и активно участвовал в основном им варшавском литературном клубе “Домик в Коломне”, где бывали видные польские писатели и критики.

После начала II мировой войны оказался в Швейцарии и с 1940 г. до самой смерти жил в Берне. Был близким сотрудником и советником Ежи Гедройца, главного редактора парижской “Культуры”, в которой на протяжении многих лет публиковал цикл эссе “Записная книжка неспешного прохожего”, а также путевые заметки, многочисленные статьи и рецензии по литературе, искусству и политике. В Париже вышли два тома его избранных произведений: “Эссе для Кассандры” и “От Бердичева до Рима”. Стемповский был знатоком русской литературы, переводил рассказы Солженицына и Виктора Некрасова, перевел “Доктора Живаго”. Его польский перевод романа Пастернака, изданный в Париже в 1959 г., был вторым после итальянского издания. В ПНР на творчество Стемповского был



наложен запрет коммунистической цензуры.

В последнее десятилетие были опубликованы несколько томов его сочинений. Особенным интересом пользуются его письма, публикуемые отдельными книгами и в журналах. Его эпистолярное наследие принадлежит к самым выдающимся в истории польской литературы, в него входит несколько тысяч писем. Для многих польских интеллигентов он был и остается нравственным и интеллектуальным авторитетом. Друг Стемповского, выдающийся художник и писатель Юзеф Чапский так писал о нем: «Слав знаний о жизни и мире, не заносчивых и надменных, но всесторонних, проныцательных и тихих, гибкий и нежный язык, в котором читатель сразу обнаруживал очарование стиля того, кто был другом человека, птиц и деревьев, несгибаемого противника всякой, даже словесной тирании, гражданина идеальной Речи Посполитой, который был братом украинца и гуцула, еврея и литовца, врага всяческого, прежде всего польского, превозношения себя над другими».

Ежи Тимошевич

Почему бы тогда Достоевский, позволяя делам человеческим в своем воображении свершиться до самого последнего предела (по художественным причинам, которые мы отметили у Шекспира), не мог, так сказать, перенести поляков со dna каторги, где он их видел, на дно человечества, изображенное в его романах?

В этом направлении могли бы идти попытки объяснить манеру изображения поляков у Достоевского художественными причинами.

Однако при более внимательном рассмотрении такое объяснение, пожалуй, не выдерживает критики. Во-первых, Достоевский далек от шекспировского приятия мира, позволяющего делам человеческим свершиться до самого конца. Он — писатель борющийся. Борющийся за права всех падших, униженных, опозоренных, требующий полной реабилитации всех без исключений жителей «подполья». Если бы гармония мира требовала причинить зло хоть одному человеку, говорит Достоевский устами Ивана Карамазова, то она была бы неприемлема. В воображении Мармеладова после Страшного суда будут спасены и люди «образа звериного». Исключений нет ни для кого. Лишенные всяких заслуг возродятся как Феникс из небытия.

И все-таки Достоевский как будто делает одно исключение. Сам он этого никогда полностью не прояснил, но у читателя остается вполне определенное впечатление, что из общего спасения всех униженных: Мармеладова, генерала Иволгина, капитана Лебядкина — будет сделано *одно* исключение, и этим исключением станут именно поляки.

Возможно, исключение охватит и француза де Грие из «Игрока», якобы маркиза, и либерального писателя Кармазинова из «Бесов», и некоторых других. Но эти исключительные случаи — несколько другого рода. Де Грие и Кармазинов не нуждаются в такой же реабилитации, как Мармеладов. Отвергнутые Достоевским, они не падут духом. Де Грие уедет в свой замок во Франции, Кармазинов вернется в свое заколдованное царство прекрасных и любезных идей.

Иная судьба у несчастных бродяг, пойманных с мечеными картами в руках, гонимых в шею лакеями. У них, кажется, нет другого выхода — разве что возродиться из пепла наподобие Феникса, как это ждет Раскольников в конце его пути. Вместе со своим ложным гонимом, который разбит в прах самим писателем, поляки у Достоевского находятся на самом дне проклятого «подполья», для жителей которого он требовал полной реабилитации.

И все-таки читатель знает, что поляки будут исключены, что им одним не найдется места в ладье метафизического спасения, на которой успеют отплыть все остальные.

Это особое положение поляков в романах Достоевского показывает, что их дело посложнее, что их образы не объяснить одними только художественными причинами.



В фантастическом мире Достоевского поляки занимают место, подобное тому, какое в творчестве Ницше занимает самый последний, самый безобразный человек, вид которого смущает Заратустру и подсказывает ему мысли только такого рода: "Мне говорят, что человек любит самого себя. Ах, как сильна должна быть эта любовь к самому себе! Сколько же в нее вмещается презрения к себе... Человек — это нечто, чему должно быть преодоленным".

В изображении поляков у Достоевского содержится, пожалуй, некоторая доля художественной истины в виде мрачной симметрии между экстремальным положением поляков на каторге и их экстремальным местом в его романах, в том, что и там, и тут они изолированы, обособлены.

Следовательно, потенциальные художественные мотивы, которыми мог руководствоваться Достоевский, вообще не объясняют интересующего нас вопроса. Загадка поляков в его романах по-прежнему остается неразгаданной.

Не слишком проясняют вопрос и политические теории и настроения Достоевского. Мы знаем их в основном по "Дневнику писателя", они гораздо менее заметны в его романах. Утверждение, что Достоевский был ксенофобом и потому описывал всех иностранцев, в том числе и поляков, с ненавистью, слишком неконкретно и не вполне поддается обоснованию. Прежде всего не всех иностранцев он изображал отрицательно. Среди них очень много положительных фигур, таких, как, например, мистер Астлей, доктор Шнейдер и другие. В том, что мы могли бы назвать враждебностью Достоевского к иностранцам, есть некое вполне определенное разграничение, возникшее из его нетерпимости моралиста, к чему мы вернемся позже.

Анализ личного жизненного опыта Достоевского тоже мало чем помогает. Трагические конфликты с поляками на каторге, предполагаемое польское происхождение Достоевского, якобы побуждавшее его к горячности неопита, — всё это скорее домыслы, не имеющие серьезных оснований.

Конфликты с поляками в Сибири наверное оставили бы зримые следы в "Записках из Мертвого дома", где воспоминания Достоевского о каторге особенно свежи. Его тогдашние отношения с поляками не были наилучшими — это известно как из польских источников, так и из самих "Записок". Однако общий тон воспоминаний Достоевского нигде не выходит за рамки объективного описания отношений и не дает никакой непосредственной "подпочвы" его позднейшим мыслям на ту же тему. Мотивы, побудившие Достоевского изображать поляков так, как это происходит в его романах, датируются более поздним временем, чем каторга и даже последняя редакция "Записок".

Предполагаемое польское происхождение Достоевского тоже не дает ключа к интересующему нас вопросу. Новые исследования родословной автора "Бесов" как будто подтверждают тот факт, что семья Достоевского происходит из небогатого волынского



О ЕЖИ СТЕМПОВСКОМ ГОВОРЯТ:

Ян Томковский

Он лучше, чем другие эмигрантские авторы, знал Россию, эту самую таинственную, возбуждающую самые противоречивые чувства европейскую страну. Свободный от характерного для многих поляков "русского комплекса", он высказывал суждения необычайно сдержанные. Он писал о польских героях романов Достоевского, но вопроса о польско-русском антагонизме практически не коснулся. Опасался он не столько русских, сколько той разрушительной работы, которую за десятилетия произвела тоталитарная машина власти. Россию первого десятилетия нашего века он вспоминал тепло, что кажется сегодня во многом понятным. Именно предреволюционные годы пробудили в русском читателе безграничное уважение к литературе, сформировали емкий рынок, на котором прижилось множество западных авторов. Однако он был не прав в своем подозрении, что сталинскому режиму удалось свести литературу к роли инструмента пропаганды. В действительности все было несколько иначе, однако подлинную картину открыли нам лишь те произведения и документы, которых Стемповский еще не мог знать.

Пожалуй, в каждой стране, где он побывал, он сумел найти нечто новое, что проглядели его предшественники. Чтение сформировало его безупречный вкус, путешествия дали возможность со стороны взглянуть на хаос польских дел. Он был предтечей такого понимания польского духа, которое, по крайней мере в кругах интеллигенции, стало в последние годы очень высоко це-



ниться. Принципиально враждебно относиться к "польскому превознесению себя над другими", Стенповский еще до войны сурово оценивал начинания властей. Он неизменно был на стороне тех, кто притеснен, чья жизнь в опасности, кого stalkивают на обочину. Юзеф Чапский писал о нем с оттенком восхищения: "...гражданин идеальной Речи Посполитой, он был братом украинца и гуцула, еврея и литовца".

дворянства. Часть семьи, приняв католичество, осталась в Польше, где она сохранялась до недавнего времени под фамилией Достоевских или Достоевских. Федору Достоевскому факты эти не были полностью неизвестны — он разговаривал о них на каторге с Шимоном Токажевским, который упоминает об этом в своих воспоминаниях. Упоминание это свидетельствует о том, что споры велись в раздражительном тоне, и тем не менее не дает никаких оснований предполагать, что Достоевский в каком бы то ни было смысле придавал большое значение своему косвенно польскому происхождению.

Следовательно, ни художественные причины, которыми мог руководствоваться Достоевский, ни причины, вытекающие из его политических воззрений и личного опыта, ни по отдельности, ни вместе взятые, — ничто полно и последовательно, пусть даже гипотетически, не объясняет, почему в своих романах автор "Бесов" изображал поляков так резко односторонне, жестоко и, может быть, даже с ненавистью.

Этого не объясняет ни один из простых ответов, которые сразу приходят на ум читателю. Их неудовлетворительность заставляет поглубже вникнуть в творчество Достоевского как со стороны формы, так и со стороны общего замысла.

II

Русская критика заметила одну формальную особенность романов Достоевского, отличающую его от других писателей его времени. А именно: на основе романов Достоевского невозможно воспроизвести достоверную картину русской жизни и русского общества, как это можно сделать на основе произведений Тургенева, Островского, Толстого, Чехова. Достоевский, впрочем, и не ставил перед собой описательных задач, чтобы такая картина могла возникнуть. Его роман не притязает на реализм. Это, как тогда говорили, экспериментальный роман. Элемент конструкции берет здесь верх над элементом наблюдения.

Эти формальные особенности творчества отличают Достоевского от русской литературы того времени и сближают, с одной стороны, с конструктивными романами эпохи романтизма — например, с произведениями Гофмана и Эжена Сю, а с другой стороны с постфутуристическими романами XX века. Кстати сказать, Достоевский, романы которого за последние 50 лет стали так популярны в Западной Европе, в последнее десятилетие оказал значительное и, может быть, еще недостаточно замеченное влияние на литературные теории и писательскую практику самого младшего поколения в Германии и во Франции.

Сделанные замечания насчет общего характера романов Достоевского в особенности относятся к его героям. Образы главных героев — тоже конструкции, построенные по особой, раздваивающейся схеме, придающей им характерную изменчивость, которая держит читателя в неуверенности



относительно их дальнейшего развития. Эту черту главных героев Достоевского русская критика уже анализировала.

Поняв этот общий характер романов Достоевского и их главных героев, мы можем точнее оценить вопрос о показанных писателем поляках. Достоевский не намеревался, а ввиду отсутствия подходящего материала для наблюдения и не умел изобразить поляков такими, какими они на самом деле были или выглядели. Его поляки — это конструкции под названием “поляки”.

Каков же план этих конструкций?

С первого взгляда заметно определенное различие в том, как сконструированы главные герои Достоевского и его поляки. Первых автор строит подробно и открывает нам постепенно. Мы познаём их в динамическом развитии, по-прежнему осложняющемся двойственностью их построения. Поляков же он всегда показывает в единовременном разрезе, неподвижном и неизменном, всегда одинаковым. В сравнении с важными образами романов они выглядят как бы схематическим упрощением.

Поляки Достоевского, как и важные для него герои, тоже построены из двух противоположных частей. Одна содержит в себе самолюбие и честолюбие, несколько формальный патриотизм, мистическую веру в свое достоинство, склонность к высоким словам и торжественности в быту. Вторая — ловкость воров, хватающихся за каждый удобный случай, и полное отсутствие чести и совести. Пользуясь классической терминологией: черты, исходящие от Юпитера и Весты, противостоят в них тому, что даровано Меркурием. Эти две группы свойств, на первый взгляд несовместимые в одном образе, соединяются вместе и как будто объясняются отсутствием ощущения реальности, критического отношения к себе и способности проникнуться чужими чувствами.

Что может значить, к чему может быть устремлена эта странная, искусственная конструкция?

В своей удивительной книге “Искусство выдумывать действующих лиц” Жорж Польти, составляя композиции из двенадцати положенных в основу характеров, показывает, что 369 простых комбинаций и около 40 тысяч производных от них ни разу не использовались ни в драматургии, ни в романах. Если подумать, открытие Польти вовсе не так уж удивительно. Создание характеров путем комбинирования простых черт, как и смешение химических элементов, может дать совершенно непредвиденные результаты: токсические, взрывные, малопригодные для драматургии, литературы и вообще для какого бы то ни было употребления.

Комбинация простых черт, из которых построены характеры поляков в романах Достоевского, дает как раз одно из таких косвенных последствий в виде отвращения, возникающего у читателя. У такого великого конструктора, как Достоевский, результат этот отнюдь не случаен и, несомненно, входил в его

Юзеф Чапский

Гофмансталь пишет, что во всяком “высшем мышлении” заложено чудо общности, единства сего дня и прошлого, жизнь умерших в нас и что только благодаря этому изменчивость времени для нас полна смысла и мы не ощущаем его как череду разрозненных, без конца повторяющихся тактов. Вечное — это сегодняшнее, и оно полно смысла.

Когда Гостовец [псевдоним Стемповского] пишет о Пелопонесской войне или о попытке оторвать Митилену от Афин, о том, как приговорили к смерти прибывших послов и всех митиленцев, способных носить оружие, о том, как продали их женщин и детей на невольничьем рынке, мы уже и вправду не знаем, идет ли речь о преступлениях афинян или, может быть, о подобных злодеяниях, которые мы сами пережили вчера. Читая Гостовеца, мы теряем ощущение грани между сегодняшним и вчерашним днем; все происходит сегодня.



Густав Херлинг-Грудзинский

Секрет Гостовца, едва ли подающийся подражанию, если эссеист оснащен более скудной, чем он, критической аппаратурой, скрыт, по-видимому, в двух фразах из выступления к его избранным сочинениям: "Проза черпает свою силу не в магии, но в ясности мысли, упорядочивающей хаос явлений". И чуть дальше: "Выход из молчания, которое, похоже, есть надлежащее состояние мысли"... Выход из молчания, составляющего надлежащее состояние мысли, — это почти любое эссе Гостовца, — выход из молчания, предпринимаемый лишь тогда, когда у него есть что объявить другим, что-то воистину существенное в трудах по упорядочиванию хаоса явлений.

намерения. Полякам в его романах предназначено быть безобразной и отвратительной конструкцией. Но почему? Ответ будет заодно разъяснением всего интересующего нас вопроса.

Внимательно рассматривая характер поляков у Достоевского, мы замечаем, что конструктивно он близок к Тартюфу и вообще ханжам и фанфаронам. Общая черта этой группы — двойственность их построения, противопоставляющего ложные формы и мнимости не дорастающей до них сути.

Возвращаясь к конструкции Достоевского, мы видим, что черты поляков, включающие гонор и патетику, относятся скорее к внешней форме, к традиционным шаблонам и навыкам, к групповым нравам, зато их отрицательные черты — это индивидуальная суть отдельных личностей.

Это наблюдение позволяет нам выделить еще одну существенную часть интересующего нас вопроса. Изображая поляков, Достоевский как будто восстает против нравственности и образа жизни, вытекающих из традиций и общепринятых этических формулировок и суждений. Это предположение дополнительно подтверждается тем, что во многих случаях мы находим в романах Достоевского целые диатрибы против поверхностной и мнимой формальной нравственности, особенно распространенной, по мнению писателя, в Западной Европе.

Почему, однако, эта довольно банальная мысль приобрела у Достоевского такую интенсивность, почему он выражает ее в образах полных гнева и жестокости, и почему, наконец, ее инструмент — именно поляки? Ответ на этот вопрос надо искать в истоках замыслов Достоевского-моралиста.

Ш

Говоря о Достоевском-моралисте, мы должны сделать одно общее замечание об этой стороне замечательного русского писателя.

Современники Достоевского и даже все следующее поколение его читателей не заметили, не оценили в нем моралиста. В нем видели великий стихийный талант, обращенный с могучим зовом прежде всего к эмоциям читателя, но никому не пришло в голову считать его авторитетом в вопросах этики, никто не придавал значения тем нравственным и философским обобщениям, к которым могли вести его произведения. Как его эмоционально-патриотические политические выступления, так и извилистая личная жизнь не поощряли современников смотреть на него как на моралиста. К тому же, с точки зрения практической морали, идеи Достоевского явно заводят на ложные пути, не дают опоры сколько-нибудь разумному образу жизни. Моралиста увидели в Достоевском лишь следующие поколения, глядевшие на него в отрыве от практических забот его современников и читавшие его уже с отдаленной перспективы.

Способствовавшим этому обстоятельством в значительной мере была популярность творчества Фридриха Ницше, которое освоило читателей с нравственной философией, оторванной от



практических вопросов, с духовной драмой, абстрактно разыгрывающейся на пустынных высотах, где никто из простых смертных по собственной воле не пребывает.

Современный читатель Достоевского, не принимая на свой счет ни его давно отживших политических взглядов, ни известных уже только эрудитам личных антипатий, в состоянии полностью оценить ту вдохновляющую роль, которую играют в его творчестве нравственные идеи. Листая сегодня толстые тома романов Достоевского, написанных торопливо и неровно, полных отвлеченных споров, дышащих скрытой страстью с оттенком истерии, мы сразу замечаем, что писателем движут не эстетические заботы. Интенсивность отношений Достоевского к созданным им героям и его постоянный пафос вытекают из нравственных идей, занимающих главное место в его вдохновении.

В чем состоит самая простая суть нравственных идей Достоевского?

Сформулировать ее нелегко. Сам Достоевский вполне обоснованно избегал ясного изложения своих идей. В авторских рассуждениях он предусмотрительно обходит щекотливые мысли, которые, будучи перенесенными в романы, не перестают удивлять и тревожить читателей. Нравственные идеи Достоевского переданы нам скорее в форме поступков и поведения, что более пригодно для описания, чем для формулировок.

Эти идеи берут начало в великой проблеме униженных и растоптанных, обездоленных и исковерканных, не допущенных на пир жизни, ведущих жалкую и нечестивую жизнь во мраке подполья. Во всех своих произведениях Достоевский говорит с нами как будто от их имени. Его творчество — одна великая их апология. Дело здесь, однако, вовсе не в том, чтобы реабилитировать их в глазах более удачливой части человечества и поднять их на ноги. Дело обстоит так же, как в “Лорде Джиме” Конрада: “Вопрос не в том, как излечиться, но как жить”. Достоевский не ставит вопрос, как выйти из подполья, каким путем совершить счастливый переход от униженного и нечестивого человечества к более просветленному. Вопрос в том, как жить под столом, на котором празднуется пир жизни, как найти опоры для этой двусмысленной жизни в подполье будто бы навеки, будто бы без надежды на спасение.

Такая постановка вопроса вызывает ряд сомнений. К каким выводам могут привести эти принципы? К каким умозаключениям может привести приятие таких принципов? Подобные сомнения вызывают у Достоевского сильнейшее возмущение. Разве у отверженных нет достаточных оснований делать выводы из объективно дарованной им безнадежной обреченности?

Тут мы вплотную подходим к важнейшей части нравственных идей Достоевского — к его борьбе за права проклятых, за права обездоленных и обесчещенных. Напрашивается вопрос: за права на что? На то, чтобы отринуть всякую концепцию мира как гармоничного целого.

Ян Котт

Стемповский научил меня писать, читать и не доверять. Быстрее всего я научился писать, много лет отняло обучение чтению, а не доверять я научился только тогда, когда голос пана Ежи был уже таким тихим, что его с трудом можно было расслышать. В книге “От Бердичева до Рима” есть рассказ “Библиотека контрабандистов”. О своем пребывании среди контрабандистов в Карпатах на венгерской границе он писал и в письмах к Кристине Марек. Эту историю мешка с книгами, который контрабандисты принесли в заметенную снегом, заброшенную корчму, я слышал и во время нашей первой послевоенной встречи в бернском “Кафе дю театр”, возле старых часов на Крамгассе, где встречались эмигранты из России еще перед I Мировой войной. Если Стемповский столько раз возвращался к этой истории о контрабандистах, которые внезапно превращаются в библиотекарей, она, должно быть, имела для него какой-то особый смысл. Это была философская притча — вроде сказки о ковче-самолете. Книжки, которые таскаешь в вещмешке за спиной или берешь с собой в долгие, рискованные странствия, обладают магнетической силой. Оставленные на горном биваке или в лесной корчме странниками, убитыми или вынужденными неожиданно бежать, они ждут нового читателя; когда-нибудь они окажутся необходимы ему так же остро, как махорка и хлеб.



Анджей Станислав Ковальчик

Стемповский, родившийся в 1894 году, рано столкнулся с пессимистическим анализом современности, принадлежащим Освальду Шпенглеру, Ортеге-и-Гассету, а в Польше — Флориану Знанецкому, Мариану Здоховскому, наконец, Станиславу Игнацию Виткевичу. От западных пессимистов Стемповского отличает отсутствие фатализма. Он не демонизирует массы, не провозглашает ни неизбежной стадильности "великих культур", ни шпенглеровской мистики "крови и почвы". Хотя, согласно Стемповскому, деградация уже началась и прогрессирует, но упадок не неизбежен. Гостовец, в противоположность Виткецию, не боялся грозящего культуре примитивизма масс, не сокрушался о том, что исчезают гении и метафизические переживания. Устойчивость цивилизации он связывал скорее с рационализмом, критицизмом, приверженностью высоким этическим и эстетическим критериям. Если западная цивилизация останется верна своим средиземноморским традициям, то она не погибнет, поскольку она в глубочайшем смысле универсальна. Стемповский не боялся, потому что не верил во всемогущество противников: страх — это уважение к мощи антагониста. Он хранил достоинство и смотрел на мир слишком со стороны, чтобы возбуждать в себе страх перед тоталитарным государством, примитивными идеологиями или насилием.

Характеризуя в самых общих чертах древнегреческую философию и немалую часть философии Нового времени, мы могли бы сказать, что она представляет собой целый ряд попыток примирить нас с ничтожеством жизни путем показа гармонического космоса, красота которого в целом составлена из отдельных теней нашего индивидуального бытия. Все подобные попытки Достоевский счел бы лицемерием. В его представлении вечно молодая мощь жизни — понимаемой как зловещая сила, неустанно творящая новые существа без исхода и надежды, — победоносно противостоит всяким попыткам свести ее к доступному для разума и тем самым приемлемому целому. *Так понимаемая мощь жизни стоит на стороне проклятых и обесцеленных.* Из нее вытекает требуемое Достоевским право отбросить всякое философское утешение, право быть призраком Банко на пиру жизни.

Из этих принципов протеста, бунта, а может быть, и коварства вытекает жестокость Достоевского. Лев Шестов, один из его глубочайших знатоков, которого Краков несколько месяцев тому назад имел честь принимать в своих стенах, правильно заметил, что в романах Достоевского ужасов больше, чем в самой действительности. Интенсивность жестоких эффектов у Достоевского — это его форма протеста против философского утешения, самое мощное требование прав для униженных и нечестивых. И, словно бы уже пользуясь этими правами, Достоевский жестокостью своих слов и образов разгоняет собеседников, сеет сомнение в умах, смиренных философией. Если посмотреть в более отдаленной перспективе, то его политические взгляды вытекают из тех же посылок.

Вникнув в вышеописанные основные принципы Достоевского, мы немного лучше поймем весь его истерический тон, всю преувеличенность терзающих его чувств и мыслей. Сам здравый смысл велит уклониться от притяния безнадежной жизни в подполье, все лучшие традиции зовут нас цепляться за самую ничтожную возможность философского утешения. Заставить нас свернуть с этого пути, по которому мы идем с древних времен, кажется такой же тщетной задачей, как повернуть течение реки. Эту задачу взял на себя Достоевский. Свой громадный талант духовидца ужасов он положил поперек дороги, проложенной разумом и традициями. Его слова — это пронзительный крик человека, который велит нам вернуться в подполье и принять низость жизни без оговорок и обобщений.

30 лет спустя после смерти Достоевского знаменитый итальянский писатель и философ Джованни Папини ради иных целей и иными путями взялся решать аналогичную задачу реабилитации "второй половины мира", которую философия оставила в пренебрежении. Половину эту составляют зло, бессознательность, бездействие, бесполезность, тщета и т.д. Частично он приходит к близким Достоевскому выводам о том, что любовь к жизни в большинстве случаев живет в этой более мрачной половине мира. Однако его книга ведет к реабилитации



преобладающей части того, что он называет “второй половиной мира”, и к ее примирению с более светлой половиной.

Но разве в нравственных идеях Достоевского не содержатся более просветленные перспективы, похожие на те, какие открывает “мефистофельская философия” Папини?

Такие возможности в идеях автора “Бесов” действительно содержатся. Они, казалось бы, должны вытекать хотя бы из того, что Достоевский был христианином. Отвергая философское утешение, он должен бы был принять утешение религиозное. Такая постановка вопроса несколько упростила бы нам классификацию идей Достоевского: они стали бы сочетанием противоречащих друг другу элементов садизма и христианской мистики. Но дело обстоит не так просто. Возможность возрождения падших в романах Достоевского схожа с христианскими схемами, но не совсем с ними совпадает, имея некоторые особые черты, о которых нам придется сказать несколько слов.

Реабилитация униженных и оскорбленных у Достоевского происходит не рациональным путем, как примирение со “второй половиной мира” у Папини. Это иррациональный и мистический процесс. Лучше всего его особенности очевидны в последней части истории Раскольникова. Она заключает в себе катарсис, процесс очищения Раскольникова, приготавливающий его к возрождению. На первый взгляд, этот процес с состоит из признания вины, покаяния, решения исправиться. Но это только видимость. Раскольников возрождается не путем христианского признания вины и раскаяния. Если внимательно прочитать последние страницы “Преступления и наказания”, мы убедимся, что, вопреки мнимому впечатлению, Раскольников, даже пробыв год на каторге, не признаётся в вине и не раскаивается. В эпилоге романа мы ясно читаем: “А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес тогда всё, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаху*, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред “бессмыслицей” какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя. (...) И хоть бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении”. И немного дальше Раскольников говорит: “Совесть моя спокойна”.



Ежи Стемповский

ПОЛЬСКО- РУССКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (1932)

Вот уже 12 лет, как польско-русские культурные отношения находятся в подвешенном состоянии. Русские знают Польшу по «Известиям» и «Красной газете». Поляки знают Россию по своим, так сказать, газетам. Разумеется, положение это, как бы долго оно ни продолжалось, следует считать временным, переходным. Когда в результате того или иного развития русских дел оно переменится, в отношениях двух народов возникнет невосполнимый пробел. В области культурных отношений обе стороны, вероятно, окажутся на довоенных позициях, не находя в своих воспоминаниях ничего, что относилось бы к переходному периоду, что позволяло бы взаимно освоиться с переменами, вызванными политическими факторами.

Из письма Стемповского по вопросу польского издания сочинений Дмитрия Философова



RUSSICUM — NON LEGITUR* (1937)

Когда святой Мазль, под конец жизни плохо видевший, окрестил пингвинов, все святые собрались на небесах — пишет Анатолий Франс в «Острове пингвинов» — посоветаться о том, что может воспоследовать из крещения птиц. После многих других слово взял святой Ириной и утешил собравшихся тем, что это недоразумение временное: пингвины-то крещены, но яйца их не были окрещены, и зло ограничится лишь одним поколением.

Что-то схожее можно сказать у нас о знании русского языка и литературы. Последним шеренгам тех, кто учил русский язык в школе, сегодня уже под сорок. Но и среди них почти никто не имел возможности углубить свои элементарные знания. Единственная кафедра русской литературы находится в Кракове, где по понятным причинам** русистов было и будет немного. Возглавляющий эту кафедру замечательный знаток русской литературы и вообще России Вацлав Ледницкий уже много лет впусую отбывает там своего рода епитимью. Так что зло, как

В свете этих слов жестокость ужасных предыдущих сцен, когда Раскольников становится на колени на перекрестке и признаётся в убийстве, кажется еще глубже, еще пронизательнее. Раскольников становится на колени без сожаления, без раскаяния, следовательно, без христианской надежды, как будто от одного сознания своего бесповоротного осуждения. В истории Раскольникова Достоевский остался до самого конца апологетом проклятых, верно сопутствуя им на самое дно бездны и не поддаваясь никакому соблазну спасения. Раскольников, становящийся на колени без сожаления и без надежды, — это как будто страшное видение, которым подполье мстительно преследует *иных*, всех, кто при виде проклятых закрывает глаза и ищет убежища в философии и вере.

Поэтому так неясны последние страницы эпилога, относящиеся к внутреннему просветлению Раскольникова. Начало его внутреннего обновления как будто вытекает из какой-то эволюции его садизма по отношению к Соне, если только это не отвечающая общепринятым условностям ложь, которая должна скрыть под достойно выглядящими мнимостями трагический вызов, брошенный миру духа.

И все же, так или иначе, Достоевский допускает возможность возрождения. Может быть, неясность последних страниц «Преступления и наказания» не следует принимать слишком дословно. Ведь и эсхатологическое воображение христиан ведет только к Страшному суду. Дальнейшую судьбу спасенных воображение христиан представляет лишь в форме самых общих намеков. В такого рода делах достаточно и дальнего намека. И, может быть, не нужно исследовать его несказуемое содержание. Таким образом, мы можем удовольствоваться суждением, что Достоевский допускает и возможность возрождения проклятых из подполья. Однако это, по-видимому, не христианское возрождение через сожаление и смирение. Оно скорее напоминает чудесное спасение Филоктета у Софокла, идущее наперекор логике фактов, словно в угоду чувствам зрителей. Это как бы возрождение из небытия. Поэтому Раскольников, открывая Евангелие в момент своего глубочайшего падения, ищет в нем главу о воскресении Лазаря, которая во всем Новом Завете лучше всего отвечает его положению, поискам возрождения из небытия. Кстати, вникая глубже, мы и сами, возможно, придем к выводу, что возрождение настоящих проклятых, бесповоротно погибших, не может совершаться иначе, нежели по образцу Феникса — из небытия.

В конце концов, Достоевский как будто предъявляет возрождению падших одно важное условие — предшествующее полное и бесповоротное осуждение, сознание и признание этого осуждения, приятие его без надежды, как в сцене, когда Раскольников без сожаления и раскаяния становится на колени на мостовой. Достоевский как будто не знает иного спасения, кроме невозможного. Такого именно спасения требует он для униженных и оскорбленных. Меньшим он не удовлетворится.



Именно это вызывающее, упрямое, полное внутренних терзаний требование невозможного — по-видимому, главная черта его особого пафоса.

IV

Размышления об общем характере нравственных идей Достоевского дают нам возможность немного лучше разглядеть положение поляков в его романах. Теперь мы видим, как поляки с каторги, единственные поляки, которых знал Достоевский, чуть не стали, но в то же время принципиально не могли стать его героями. Чем ближе они оказывались к категории бесповоротно осужденных, за метафизические права которых боролся Достоевский, тем больше, с точки зрения его важнейших общих принципов, становились ему врагами. Взяв за пример Раскольников, постараемся здесь шаг за шагом проанализировать все точки расхождения между героями Достоевского и поляками, которых он имел в виду.

Поляки, которых Достоевский узнал на каторге, были мучениками своей идеи, в то время как Раскольников в Сибири страдает лишь в силу “бессмыслицы” приговора судьбы. Его мученичество, начиная со страшной сцены на улице и до конца первого года каторги, лишено всякого объяснения, всякого внутреннего или космического смысла. Мученичество поляков во времена Достоевского обладало глубоким мессианским смыслом: оно приближало момент искупления растленного тиранами мира. Ссылные поляки не были безнадежно пропавшими: они принимали мистическое утешение в мессианизме, который, как и все другие формы утешения, Достоевский отвергал. Поэтому чем страшнее были муки поляков на каторге, чем более безутешными казались их страдания, чем больше они внешне уподоблялись окончательно осужденным, тем более, в соответствии с принципами Достоевского-моралиста, становились они в его глазах псевдопроклятыми, незаконно чающими того великого сострадания, какого он требовал для своих героев из подполья. Это породило фальшивую ноту, всегда звучащую в его конструкции поляков. В его романах они всегда лишь выдают себя за мучеников, как выдают себя за графов (эпизод “Идиота”) или магнатов. Поэтому чувство правильно подсказывает читателю, что поляки в романах Достоевского будут исключены из реабилитации падших и проклятых. И верно, поляки — и те, которых он видел на каторге, и те, которых описал в своих романах, — каким бы ужасным ни было их падение, никогда не становятся настолько проклятыми, как Раскольников, падающий на колени на площади. Избегая этого, они довольствуются философским или религиозным утешением, которое Достоевскому представляется лицемерием. В глазах Достоевского поляки как будто уклоняются от настоящего мученичества и потому, вопреки видимости, не только не заслуживают жалости, но, наоборот, должны быть разоблачены. Поляки представляют для него самую опасную, ибо сошедшую на самое дно каторги,

говорит святой Ириной, остановилось на старшем поколении. Десять-двадцать, в лучшем случае несколько десятков уже поседевших господ могут сегодня у нас похвалиться тем, что читали когда-то все эти знаменитые книги, младшим известные лишь по слухам. На распродажах и аукционах иногда даже редкую русскую книгу можно купить за один злотый: на этот товар нет спроса. *Russicum — non legitur*. В литературных журналах самые безбожные бредни на русские темы проходят незамеченными из-за отсутствия просвещенного в этой области читателя.

*Из рецензии Стемповского
на книгу Сергея Балухатого
«Чехов-драматург»*

* Русское — не читается. — *Пер.*

** «Понятные причины» состоят в том, что Краков в эпоху разделов Польши принадлежал Австрии и здесь русского языка в школах не изучали. — *Пер.*



ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ (1960)

Живи я в Варшаве, я занялся бы тем, что глядит в будущее. Я основал бы исследовательский центр по русистике и два раза в год ездил бы в Москву и Петербург. Ибо — разве в Лондоне или Париже может случиться что-нибудь такое, что имело бы значение для остального мира? Наверняка нет. Значительно легче себе такое представить в Москве, Киеве или даже Бердичеве. При этом следовало бы заранее обдумать форму и содержание того, что будет.

Из письма Стемповского писателю Юлиушу Жулавскому

попытку найти рациональное или мистическое объяснение мук проклятых — тех мук, которые во всем творчестве Достоевского должны иметь *ничем* не объяснимый характер, вызывающий к нам своим извечным, не поддающимся подавлению протестом.

Вышеуказанные обстоятельства как будто объясняют нам, почему у Достоевского конструкция самого плохого человека — это парадоксальная парафраза его воспоминаний о поляках на каторге и почему эта конструкция называется “поляки”.

Разумеется, метаморфозы, которым подвергается Раскольников, и вся концепция возрождения из небытия, относящаяся более или менее ко всем падшим героям Достоевского, — это по сути индивидуальный процесс, лежащий вне всякой коллективной, традиционной морали, имеющей свои установившиеся формы. Тот, кто поддается этому страшному процессу очищения и возрождения, делает это как бы на свой страх и риск, наперекор установившимся понятиям, открывая в себе личную, индивидуальную нравственность, непригодную для прочих смертных. Не видя для настоящих проклятых иного спасения, кроме иррационального возрождения, какое мы отметили у Раскольникова, Достоевский отвергает для них и все традиционные формы морали, годные для званых на пир жизни, но бесполезные для людей из подполья. Этой спецификой его нравственных идей объясняется, почему в его конструкции поляки вместе с французами и немцами выступают как представители мнимой морали, бессодержательной для людей из подполья — этих единственных настоящих героев Достоевского.

В сложной метафизике Достоевского при методических поисках наверное можно было бы найти оттенки мысли, еще более приближающие его нравственные идеи к образам поляков в его романах. В этой части наших рассуждений мы не претендуем на исчерпание вопроса, но лишь стремимся в общих чертах отметить органическую связь изображаемых Достоевским поляков с самым общим замыслом писателя.

Прежде чем закончить наши рассуждения, следует подумать и над тем, в какой степени идеи Достоевского, относящиеся к его образам поляков, связаны со временем и обстоятельствами жизни автора. Существование такой связи кажется нам бесспорным, особенно если подойти к нравственности как индивидуальному эксперименту. Ясно, что формы и традиции морали могут принимать определенные очертания, лишь охватывая большие группы людей, достаточно внутренне дифференцированные, чтобы порожденные этими формами и традициями доктрины отвечали действительному разнообразию нравственных проблем, выдвигаемых жизнью. А Россию, в которой жил Достоевский, он видел глубоко внутренне разделенной на плохо сообщающиеся слои. Верхушка общества с существующими властями и учреждениями до конца жизни казалась Достоевскому лишенной нравственного авторитета. Даже став национальным писателем и получив признание самого прокурора Священного Синода, Достоевский всегда смотрел на власть как на кошмарного



фельдгегера, образ которого с детства болезненно врезался в его память. В его сочинениях мы не найдем ничего, позволяющего предполагать, что его нравственные идеи каким-либо образом связаны с жизнью и нравами высших слоев общества. Отторгнутый от них своим личным трагическим опытом, Достоевский старался внутренне сблизиться с простонародьем, которое поначалу встретил в виде жуткого, порочного сборища, населяющего каторгу. Тут надо заметить, что если контакт Достоевского с низами общества не ограничился каторгой, то она навсегда наложила на него тот страшный отпечаток жестокости, который словно обременяет все простонародные образы в его романах. И хотя он до конца остался глашатаем и певцом порочного каторжного люда, но ни он сам, ни его настоящие герои нигде не отождествляют себя с низшими слоями общества. Вместе с Достоевским они — жители трагического подполья, исключенные из всякого общества, подвешенные между отталкивающей их верхушкой и разверзающейся под их ногами бездной каторги в невыразимом общественном и нравственном одиночестве.

Каким же образом создавать нравственные ценности в этом полном, со всех сторон изолированном общественном вакууме? Существуют ли вообще в этом вакууме нравственные достоинства? Произведения Достоевского в значительной мере дают ответ на эти вопросы. Они представляют собой великий эксперимент, великую попытку создания индивидуальных нравственных ценностей человеком, подвешенным в трагическом общественном и моральном вакууме, в котором никто не пребывает добровольно.

Результаты опытов, поставленных в подполье Достоевского, бросают какой-то новый, зловещий луч света на мораль одинокого человека, на мораль двоих — однако у них нет никакой разумной связи с общей моралью, охватывающей больше трех человек. Впрочем, людям из подполья нет никакой пользы от общей морали. Поэтому идеи Достоевского, породившие образы поляков в его романах, идеи, зачатые в Мертвом доме, так странно звучат в домах живых людей. Ибо в своей глубочайшей сущности они совершенно оторваны от всяких дел, объединяющих или разделяющих живые общества.

(1931)



• Хотя я и не дожил еще века Мафусаилова, однако помню те прекрасные времена, когда паспортами и визами приходилось хвалиться только на границах царской России и Турции Абдул-Гамида. Тот, кто благополучно пересек эти границы, мог ехать дальше куда хотел, хоть на кудыкину гору, хоть до самой Патагонии, безо всяких документов. Кому надоело дома, тот менял страну, а если хотел — и фамилию. Молодым сегодня трудно в это поверить.

• С незапамятных времен человек создает сопутствующий ему мир художественного вымысла, так же, как создает и иные условия своего существования. Одежда и жилище защищают его от холода и ветра, а сопутствующий ему вымышленный мир искусства, более упорядоченный с точки зрения ценностей, защищает его внутреннюю жизнь от окружающего неприветливого морального климата. В этом — волшебная сила слова и непреходящая общественная роль литературы.

• Ошибкой было бы считать, будто тоталитаризм — привилегия коммунистического и пока что похороненного фашистского мира. Так называемые демократические страны живут в рамках той же самой нравственности, и — чтобы не покориться насилию — им тоже придется познакомиться с тотальной мобилизацией.

Ежи Стемповский (из книги «От Бердичева до Рима»)



Ежи Стемповский

БИБЛИОТЕКА КОНТРАБАНДИСТОВ

Какая из книг, читанных во время войны, произвела на меня наибольшее впечатление?

На простой вопрос часто трудно найти ответ. Чтение — дело сложное, непрерывное, изменчивое, как сама жизнь. В эпохи войн и переворотов личные судьбы, как и круг чтения, больше зависят от случая. Так было и со мной. Во время войны я прошел — иногда пешком — много стран, пользуясь по дороге и личными, и публичными библиотеками. Во всех книги были разные — и по содержанию, и по типографскому исполнению. От страны к стране менялись вкусы собирателей книг, не говоря уж о различиях, связанных с тем, что читатели делятся на три основные категории. Одни, искушаемые демоном знания, читают систематически, увязывая один текст с другим. Другие, читая, как Монтень, ради удовольствия, пробуют всего понемножку. А есть и такие, кто покупает множество замечательных, дорогих книг, но никогда не находит времени их читать.

Мое чтение зависело от того, что попадалось по пути. Его составляли книги очень разные: горькие, как полынь, зловещие, век за веком тщетно сулящие гибель человеку и делам рук его, и умиротворенные, легкие, отрешенные от всякого прежнего опыта, такие, которые прочитываешь одним духом, и такие, читать которые с удовольствием можно лишь по страничке в неделю. Какие из этих книг лучше, какие производят самое сильное впечатление? Не могу ответить. Все они необходимы — каждая по-своему. В некоторых таятся сюрпризы — как редкостный перстень на дне мусорного ящика. В одном старом путеводителе по нормандским курортам я обнаружил несколько фраз, о которых стоило бы написать отдельный очерк. В классических, давно, казалось бы, известных книгах я замечал необычные страницы, которые прежде ускользали от внимания. Какие из них назвать? Каждая открывает что-то новое, важное, а все вместе они составляют таинственную и прихотливую жизнь писаного слова, длящуюся уже почти сто поколений.

Вместо того, чтобы перечислять названия, среди которых я не могу сделать выбор, я хочу написать о военных судьбах книг и о встречах с ними читателя времен войны.

Сразу после Рождества в нашу горную больницу стали привозить тяжелораненых. Казалось, тревожное время в сочетании с алкоголем бросило хмурую тень даже на вечный радостный праздник рождения нового солнца.

Первыми были двое венгерских солдат, самоубийцы с огнестрельными ранениями черепа. Потом пошли больные с послепраздничным заворотом кишок, за ними — многочисленные жертвы переломов, заработанных при неосторожной рубке леса. Отсутствие свободных мест уже сильно сказывалось.

В моей палате было три койки. Я провел здесь уже десять недель, первые три из которых совершенно не помню. Над койкой висела черная дощечка, на ней мелом была написана моя фамилия, дата поступления, 28 октября 1939, и “диета № 3”. На практике это означало, что меня почти совсем не кормили. Мои ближайшие соседи часто менялись. Только один встал с койки живым. Над другими доктор Бергман склонялся, глядя на них сзади, — я видел, как он закрывает глаза, чтобы точнее определить пальцами, когда острое иглы проходит сквозь мышцы, плевру, тканевые оболочки и сердечную мышцу. Интракардиальная инъекция, последнее таинство наших времен.



У меня только третий день как спал жар, но врач уже уговаривал меня ходить. Первые попытки кончились неудачей. Через пару шагов, не добравшись и до середины комнаты, я возвращался на койку, задыхаясь, в холодном поту. В артериях вместо пульсации я ощущал лишь неясное бульканье. *Pulsus paradoxalis*, говорил доктор Бергман. Воспаление легких оставило мне в наследство токсическое поражение рук и ног, я их вообще не чувствовал, передвигался как на протезах. Из-за истощения левая почка вращалась вокруг своей оси, вызывая невыносимую боль, приходилось на ходу прижимать ее рукой.

Под окнами искрился выпавший тем временем снег.

В день св. Сильвестра [на Новый год] я сдал наконец экзаме́н по ходьбе. Одоле́л коридор и поднялся по лестнице на второй этаж. Там меня ждал доктор Бергман, который неожиданно спросил, куда я теперь собираюсь ехать. Этот вопрос вдруг заставил меня осознать, что нет такого места, куда мне надо спешить. После минутного мучительного молчания я ответил, что хотел бы вернуться к контрабандистам, в ту деревню, откуда окружной врач привез меня в больницу. Доктор Бергман одобрил мой проект. День отъезда был назначен на 2 января.

До места было километров 80, не больше, но дорога, включая две пересадки — с автобуса на поезд и с поезда на автобус, — затянулась на целый день. День был ясный и морозный. Только в сумерках я очутился перед знакомой корчмой, принадлежавшей немолодому человеку, который сочетал внешность президента Крюгера с неофициальным титулом короля контрабандистов.

Комната, занимаемая мною прежде, пустовала. Контрабандисты накормили меня гуляшом, напоили сладким *glühwein*’ом из легкого белого вина, завернули в спальный мешок, накрыли горой подушек и перин. Низкая железная печка была раскалена докрасна.

Спал я не больше часа. Разбудил меня шум и свист изо всех углов. Я зажег свечу. Вода, стоявшая рядом с подсвечником, превратилась в монолитный кусок льда, возвышавшийся над краями стакана. Дома на южном склоне Карпат — почти ажурные. Шумел и свистел ветер, проникавший сквозь щели в деревянных стенах. Мороз щипал мне лицо всю бессонную ночь.

Утром пришли контрабандисты, затопили печь и порешили, что больше мне в этой комнате жить нельзя. Всю ночь бесновался ветер, при 28 градусах мороза. В доме температура упала до минус двадцати.

На берегу Тиссы, меньше чем в километре ниже корчмы, стоял единственный в тех местах каменный дом в четыре ком-



Лешек Шаруга ЧЕЛОВЕК ПОРУБЕЖЬЯ

Степень сложности порубежья бывает разной, а то порубежье, о котором пойдет речь и которое в польской эссеистике носит название Междуморье, представляет собой особенно сложную территорию. Если рассматривать это понятие в политических категориях, тогда огромное пространство, занимаемое Междуморьем, становится полем борьбы за политическое влияние, на котором, с исторической точки зрения, господствовали Россия и Польша. Но можно ведь рассматривать это пространство не как «спорную территорию», а как особую культурную целостность, которая ценна сама по себе. Именно так это трактует польская эссеистика, представленная именами Ежи Стемповского, Станислава Винценца или Чеслава Милоша. На их взгляд, в результате перемен, происшедших в нашем столетии, было разграблено и оскудело богатство европейской культуры, для которой именно Междуморье служило своеобразной скрепой Востока и Запада. Поэтому столь важна роль той словесности, которая, сберегая память об этом сплетении культур, языков и религий, творит один из важнейших мифов европейских традиций, который важнее мифа Центральной Европы и противопоставит этому мифу, используемому



*Миланом Кундерой и берущему свое начало особенно в немецкой исторической мысли, где выделяется пространство под названием *Mittleeuropa*.*

Ежи Стемповский — один из виднейших польских эссеистов уходящего века; он умел соединять репортерскую наблюдательность со способностью к историческому обобщению. Его творчество в значительной мере направлено именно на сохранение памяти о Междуморье, которое он рассматривал как особый случай в европейской культурной традиции, как ценность, которую следует культивировать не затем лишь, чтобы погрузиться в минувшее, но затем, чтобы, опираясь на нее, думать о будущем.

Описывая долину Днестра времен своей юности, Стемповский указывал на ее органическую многонациональность: «Вся огромная часть Европы, лежащая между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, была одной большой шахматной доской народов, полной островов, анклавов и самых причудливых комбинаций смешанного народонаселения. Во многих местах каждое село, каждое сословие, каждая профессия говорили чуть ли не иным языком. На моей родине, в среднем течении Днестра, помещики говорили по-польски, крестьяне — по-украински, чиновники — по-русски, как говорят по-русски в Одессе, торговцы — на идиш, плотники и столяры — старообрядцы и раскольники-филипповцы — на новгородском наречии русского языка, охотники — на своем особом жаргоне. (...) Довольно многие сменяли родной язык, но ни один из этих языков не погибал. Во времена моей молодости некоторые из крестьянских наречий выросли в прекрасные литературные языки, на которых написаны стихи, полные неведомого прежде очарования. Когда одна из национальных традиций начинала ослабевать, прибывали неопиты из соседних народностей, чтобы ее поддержать. Тайна этих странных

наты. В чешские времена там помещался жандармский пост, потом туристский приют. Уже несколько лет дом стоял заброшенный и пользовался в округе весьма дурной славой: его будто бы посещали злые духи. С наступлением сумерек никто не отваживался к нему приблизиться.

— Вы с дьяволом в каких отношениях? — спросил меня сын контрабандиста.

— В самых лучших.

— В таком случае вам будет там хорошо.

В самой маленькой комнате дома с привидениями стояла высокая чугунная печка, поставленная когда-то жандармами. Контрабандисты принесли кровать, шезлонг, большую кастрюлю для кипячения воды, маленькую керосиновую лампу, бутылку неочищенного керосина местного происхождения и целую поленицу пахучих буковых дров.

В этом убежище мне пришлось коротать остаток зимы. В полдень я шел в корчму на бигос и белый *glühwein*, на закате возвращался в свое уединенное логово, окруженное снежными сугробами. На другой день после моего приезда из-за мороза и сугробов по всему Закарпатьяю на 35 дней встала железная дорога. Скоро кончился керосин, потом свечи. Одинокое вечера я проводил в комнате, освещенной лишь языками пламени из-за неплотно закрывавшейся печной дверцы. Нервы у меня все еще были не в порядке. Депрессия сменялась дурацким умилением и слезами. Чтобы осмысленно вести себя среди людей, требовались мучительные усилия. В этих обстоятельствах я мог оценить чуткость, такт и доброжелательность контрабандистов. Людям их профессии хорошее воспитание запрещает задавать вопросы и удивляться каким бы то ни было приключениям. В корчме я видел деликатные и доброжелательные лица. Полагаю, в тогдашнем моем состоянии всякое иное общество было бы для меня невыносимо тягостным.

Через несколько дней после того, как меня поселили в доме с привидениями, меня навестил старый контрабандист.

— Вы, наверно, всю жизнь читали, теперь вам грустно будет одному, без книг. Постараюсь найти вам что-нибудь для чтения.

И вот на следующее утро явился молодой контрабандист Андрийко, неся на плечах мешок; он поставил его в углу. Когда комната вполне прогрелась, я развязал мешок и одну за другой стал доставать книги. Первым появилось хорошее издание Горация, потом “Метаморфозы”, потом “Буколики” и “Георгики” Вергилия и книги нескольких латинских поэтов эпохи Возрождения. Дальше шли книги испанские, в основном времен гражданской войны; однако среди них был и томик Грасиана “*Agudeza y arte de ingenio*” [“Остроумие, или Искусство изощренного ума”]. На дне мешка лежали несколь-



ко английских авторов времен романтизма: Саути, Кольридж, пара томов Вальтера Скотта, "Pride and Prejudice" ["Гордость и предубеждение"] и, наконец, в переплете явно иного происхождения, слегка потрепанный экземпляр "Fairy Queen" ["Королева фей"] Спенсера.

Так я был обеспечен на всю зиму чтением самого лучшего качества.

Как сложилась эта странная, но строго подобранная библиотека, какими судьбами занесло эти книги в лесное убежище контрабандистов?

Легко понять, что случайная книга не попадет в горную глушь. Мало кто берет с собой книги, отправляясь в дальний пеший переход с вещмешком на плечах. Сделает это, пожалуй, лишь упорный книголюб, у которого в библиотеке после долгих лет чтения остались только лучшие, многократно прочитанные книги. Но первую попавшуюся книгу и он в дорогу не возьмет.

Историю тех книг я урывками узнавал потом, поскольку и мне не пристало задавать слишком много вопросов.

Латинские книги были с небольшой лесопилки, расположенной немного ниже по течению Тиссы. В эпоху войн и переворотов, обрушившихся на страну в 1938 году, там под видом рабочего скрывался какой-то филолог, который в свободные минуты — наверняка прячась в лесу — испещрял поля классиков значками и заметками. Однажды он исчез так же таинственно, как и появился, бросив скудные пожитки. Был он неразговорчив, общества избегал; никто не знал, кто он и откуда родом.

— Видно, очень любил книжки, раз даже сюда их притащил, — говорили контрабандисты. — Когда-нибудь наверняка за ними вернется.

Испанские издания попали в уединенную корчму совсем иным путем.

После гражданской войны из Испании по горам и лесам на восток — должно быть, в Советский Союз — пробирались двое путников. Не знаю, верный ли они избрали маршрут: до советской границы от этих лесов было не близко. Чтоб до нее добраться, надо было либо пересечь часть Восточной Галиции, рискуя нарваться на польских пограничников, либо искать дорогу через Буковину и Бессарабию, где поджидала румынская "сигуранца". Встреча с советскими пограничниками тоже не сулила ничего хорошего. Кто знает, какая судьба настигла их в пути?

В горах на них напали бандиты. На месте нападения, в лесу, осталась кожаная сумка, в которой были ненужные бандитам туалетные принадлежности и пачка испанских книг. Сумка пролежала в лесу несколько дней. Как видно, путникам

и запутанных процессов по существу была очень проста. В те времена национальность не была неотвратимо расово роковой, но в значительной мере оставалась делом свободного выбора. Этот выбор не ограничивался языком. В долине Днестра, где многие великие цивилизации оставили свой отголосок, каждый язык был носителем особых исторических, религиозных и общественных традиций, каждый представлял определенную систему нравственных ценностей, выработанную веками триумфов, поражений, мечтаний и софистики».

Эта свобода выбора, возможность по своей воле определять свою национальную принадлежность, открытость навстречу многим созвучным и не взаимоисключающим друг друга традициям — все это представляет для Стемповского ценность непреходящую и основополагающую. И хотя описываемый им мир, конечно, идеализирован (правда, автор, как свидетельствуют его письма к Ежи Гедройцу, создавал существующие на этом пространстве конфликты), хотя этот мир и остался в прошлом, раздавленный прокатившимися по нему в XX веке махинами тоталитарных режимов, тем не менее одно то, что он некогда существовал, должно формировать современное историческое сознание не только нынешних жителей этой территории, но и всей Европы. И нет ничего удивительного в том, что изданный недавно в Германии сборник эссе Е. Стемповского был встречен восторженными рецензиями, в которых подчеркивалась прежде всего универсальность опыта Междуморья.

Один из рецензентов, Вольфганг Шлотт, подчеркивает: «Захватывает репортажный стиль Стемповского, которым наслаждаешься прежде всего при чтении его путевых записок о разоренных войной Германии и Австрии. Сжатые, рубленые фразы, и тут же глубокие сентенции по поводу самоощущения побежденной нации, которая, по-



чти еще не успев осознать свои преступления, уже приступила к процессу их вытеснения из памяти. Не подкупный взгляд этого поляка-космополита охватил и пагубную, преступную политику западных союзников, которые выдавали органам НКВД и советским военным властям тысячи восточноевропейских беженцев, чтобы избавиться от обременительной задачи их интеграции. Этот очерк следовало бы перепечатать в немецкоязычных школьных учебниках как качество наглядного урока о том, как вытесняется из сознания и подвергается манипуляциям история. Заслуживает такого же внимания эссе о долине Днестра, о классическом и почти восточном культурном пейзаже сегодняшней Украины, где мирно жили рядом турки, греки, евреи, русские, украинцы, поляки, немцы и разные другие нации поменьше — пока пейзаж этот не был сметен в XX столетии политикой и войнами).

Автор этого комментария обратил внимание на важнейший аспект эссеистики Стемповского, который можно назвать неполитической политической словесностью. Она политическая постольку, поскольку принимает во внимание политические реалии прошлого и современности. А неполитическая, ибо, обращаясь к будущему, она стремится преодолеть эту политическую обусловленность во имя ценностей высших, нежели политические. Такой подход вырабатывается именно опытом человека порубежья, для которого не подчиненная политике свобода своего самоопределения — вопрос основополагающий и всегда открытый.

А то, что вопрос этот вовсе не чисто теоретический, свидетельствует недавно опубликованный в газете «Жечпосполита» очерк Радослава Янушевского и Яна Стренковского, озаглавленный «Междуморье в Варшаве», где говорится, в частности, об осознании своей национальной принадлежности прибывшими из разных стран слушателя-

важнее было поскорей добраться до границы, чем отыскивать потерянный багаж.

— Кто знает, понравилось ли им в России, люди всякое говорят. Может, они вернутся той же дорогой? На всякий случай припрядем-ка сумку, — решили контрабандисты.

История английских книг была сложнее. Некий итальянский аристократ из-под Триеста — в годы, когда итальянцы открыли Венгрию, — возжелал поохотиться в Карпатах на медведей и рысей. Был он молод и, по-видимому, столь же богат, сколь и не склонен ходить проторенной тропой. И вот он добрался до самых истоков Тиссы и в последнем селении на краю пуши купил маленький домик, который обставил по своему вкусу. В его обширном багаже был ящик шампанского, ящик сигар и 50 совершенно новых колод карт. Очевидно, молодой человек питал также некую слабость к книгам, поскольку на ненастные дни припас и небольшую библиотечку. Через несколько недель Карпаты надоели заезжему охотнику, он уехал и не вернулся, но дом остался за ним.

В период войн и переворотов там поначалу обитали какие-то немецкие авантюристы. Пили шампанское, курили сигары, играли в карты итальянского аристократа, не обращая внимания на книги. Потом дом пережил изменчивую и бурную историю. В последнее время в нем жил известный всей округе дерзкий агент гестапо. Часть мебели пропала. Один из случайных жильцов, покидая дом, по всей видимости, прихватил часть движимого имущества, он-то и оставил пачку английских книг в придорожной корчме.

— Никто не покупает домов, чтобы их бросать, — рассудили контрабандисты. — Итальянский герцог еще вернется и, быть может, порадует, что, кроме голых стен, у него осталось и несколько книг.

В своих предположениях контрабандисты ошибались. Кто в военное время выходит из дому, тот редко возвращается назад. Итальянский охотник бросил не только свою хату в Карпатах, но и палаццо в Далмации. Потом я слышал, что в годы войны он обретался как эмигрант в Тессине. Впрочем, похожая судьба ждала и самих контрабандистов.

Только «Fairly Queen» не принадлежала больше никому. Ее принес турист, который ночевал поблизости, в лесной сторожке, а поутру ушел в горы, оставив книгу. Его останки, изгрызенные зимой волками, нашли только на следующий год. Времена были уже смутные, никто из семьи так и не появился в местах, где он пропал.

Во времена войн и переворотов читатель оставляет библиотеку дома. В дорожный мешок он кладет любимую книгу, но и ту вскоре вынужден бросить где-нибудь в придорожной корчме или на лесном распутье. Библиотека контрабандистов была тому живым свидетельством и предостережением. Чи-



татель военного времени должен рассчитывать прежде всего на свою память. В конце пути у него остается только то, что он унес в памяти.

Увы, когда память нужнее всего, она превращается в тонкую, непрочную ниточку. Среди великих потрясений целые поколения внезапно теряют память и замирают, ослепленые, лишенные прошлого, не находя дороги вперед.

В те месяцы, проведенные в убежище контрабандистов, проблема памяти была для меня источником непрерывных страданий. Из-за болезни и слабости у меня в памяти возникли огромные провалы. Из своего прибежища я не мог никому написать, потому что не помнил ни одного адреса. Из памяти стерлись, к примеру, все названия лекарств. Из сульфамидов, с которыми я часто имел дело непосредственно перед войной и которыми меня безрезультатно пичкали в больнице, не мог вспомнить ни одного препарата, а обо всей группе знал только то, что она начинается на букву "с". В темной комнате я проводил инвентаризацию того, что во мне еще осталось от прошлого. Инвентарь был ужасающе убог. Лучшее всего сохранились воспоминания о музыке, которые вдруг высвечивались вполне отчетливо, во всем великолепии инструментовки.

Пребывая в таком состоянии, я полчаса не решался открыть Горациевы "Сарминае". Да помню ли я еще латынь? Не окажется ли эта книга лишь издевкой над моим уродством?

Все чтение в тот период было попыткой отыскать собственное прошлое — я наугад протискивался сквозь заваленные щебнем лазейки. Сегодня, чтобы критически взглянуть на свое чтение той поры, я должен бы был прежде всего ответить на вопрос: что из тех книг я еще помню, что во мне осталось от них?

Дольше и внимательней всего я читал "Буколики" и "Георгики". Обе книги я хорошо знал и прежде. Меня поражала их формальная красота и живучесть, о которой свидетельствовала бесконечная серия подражаний и реминисценций, не прерывавшаяся почти вплоть до нашего времени.

Лишь в убежище контрабандистов мне открылось реалистическое и психологическое содержание "Буколик". Изгнанник, покидающий свою страну, начинает инстинктивно хвататься за землю, поглощать ее глазами, словно желая всю ее удержать в памяти. Ему здесь уже нечего делать, никакая прагматическая мысль не замутняет интенсивного созерцания. В этом взгляде — секрет Вергилия и исток непреходящей актуальности "Буколик".

Такое чтение не могло не повлиять на мои дальнейшие планы.

ми Восточной летней школы Варшавского университета. «Так вот, я тот, кем себя ощущаю, даже если метрика заставляет в этом усомниться. У Игоря Лило нет сомнений. Его мать была полькой, но для него это не имеет никакого значения. С его определением себя как русского у нас были трудности. В глазах польских студентов он был украинцем. Оксана Остапчук, украинка из Москвы, пожимала плечами: «Какой там из него украинец». Наконец мы его прижали: все-таки русский. (...) Оксана, хоть и живет в Москве, — патриотка Украины. Мажко — белорус «на 100 процентов», но его жена осознаёт себя полькой. Что это значит? Говорит она по-белорусски, польского языка родным не считает. Иной случай с женой Вилькаса, полькой из Вильнюса, признающей себя полькой. Петрару мы до самого конца считали румыном. Он говорил только о бабушке — польке из Буковины, которая, впрочем, была наполовину украинкой и говорила свободнее по-украински, чем по-польски. Под конец беседы мы с изумлением услышали: «Я как поляк...» — Да, я поляк, — развеял он наши сомнения». Жаль только, что в этой школе не может сегодня вести занятия Ежи Стемповский.



До конца 1939-го я сопротивлялся мыслям об эмиграции. Границу перешел, чтоб избежать контакта с оккупировавшими Польшу с двух сторон армиями, решив, что вернусь после того, как ситуация более или менее прояснится. По этой причине я и оказался один в пограничной полосе. На эмиграцию я смотрел гораздо более трезво, чем мои товарищи по несчастью. Родившийся на дальней окраине, я и в Польше-то был до известной степени эмигрантом. Близко знал многих эмигрантов из разных стран, а по ранней юности помнил даже польскую эмиграцию 1904-1905 годов. Так что у меня было точное представление о незавидной судьбе и бессилии эмигрантов. Знал я и то, что со времен Сент-Эвремона и шевалье де Граммона, которые покинули Францию, потому что не в силах были вынести дурного вкуса Людовика XIV, эмигранты — за редким исключением — никогда не возвращались. Кроме того, прожив несколько лет на Западе, я пришел к убеждению, что новая польская эмиграция, в отличие от эмиграции 1831 года, не найдет там никакой политической и моральной опоры. Отправившись из больницы в деревню, я хотел только набраться сил, чтобы весной вернуться через горы на север.

Известия, проникавшие из Польши, свели эти планы на нет. При своем тогдашнем состоянии здоровья я опасался стать в Польше обузой для друзей, которые будут меня прятать. Сам ход событий толкал меня в тупик эмиграции. При своем тогдашнем скептицизме я не рассчитывал совершить там хоть что-нибудь полезное. Судьбе я мог противиться, только пытаюсь везде быть самим собой.

Отправляясь на Запад, я сознавал, что в последний раз вижу кусочек Восточной Европы, которая вот уже четверть века съезживалась у меня под ногами. Я хотел сохранить точный, вергилиевский образ того клочка этой территории, который еще был мне доступен. Для этого я собирался с наступлением весны покинуть убежище контрабандистов и тронуться в путь от деревни к деревне, пробираясь окольной дорогой. В пути я собирался вести разговоры о местных обычаях и старине, как будто только с этой целью туда явился. По опыту я знал, что такой образ жизни помогает везде найти друзей и рассеивает подозрения. Рассчитывая, что Восточная Европа не будет оккупирована до сбора урожая, я намеревался до этого срока пересечь итальянскую границу.

По разным причинам мне удалось выполнить этот план лишь частично; по дороге я собрал материалы для большого вергилианского очерка, который собирался когда-нибудь завершить и опубликовать.

Из остальных книг, прочитанных в лесном убежище, помню лишь фрагменты.

В "Fairly Queen" мое внимание привлекло новое обличье рыцаря Красного Креста. Раньше, читая эту прекрасную барочную поэму много лет назад, я и не заметил, что рыцарь без оружия не только возвышен и печален, но и гневен, ужасен. "Yet nothing did he dread, but ever was ydread" — так звучат последние слова фрагмента. Всякий бы расхохотался, если б кто-то выразился подобным образом о чиновниках нынешнего Красного Креста, не говоря уж о господах из УНРРА или ИРО, бесславных отпрысках спенсеровского рыцаря.

Жестокость и варварство не вызвали в нашем поколении ни малейшего гнева. Известия о казнях и пытках принимались, особенно на Западе, либо с недоверием, либо со спокойным объективизмом, который пристало соблюдать по отношению к явлениям природы. Многие считают лагеря и пытки новым образом жизни, ныне уже общепринятым и даже неизбежным.

Странствующему читателю, несущему книги только в своей памяти, должна быть особенно по душе гномическая поэзия — форма, хорошо известная в древности, а сегодня заброшенная, неизвестная. Латинские поэты Возрождения и барокко успешно ее разрабатывали и дали прекрасные образцы. Из прочитанного в убежище контрабандистов у меня в памяти осталось двести стихов о Тибре:

*Disce hinc quid possit fortuna: immota labescunt
Et quae perpetuo sunt fluitura, manent.*



Во времена Возрождения Тибр протекал среди развалин, которые частично сохранились до наших дней, а частично исчезли под городскими районами, построенными позже. В руины обратились поочередно строения времен республики и империи, времен возвращения византийцев, разных периодов Средних веков. Вззирающий на них поэт замечает: единственная постоянная и неизменная вещь — река, струящаяся среди руин. “Смотри, что может судьба, — говорит он, — неподвижное обращается в прах, а то, чему предназначено вечно течь, остается”.

Когда зимой 1940-го я прочитал этот дистих, мне вспомнилась Варшава, где, может быть, лишь Висла осталась все той же. Сегодня то же самое можно сказать о многих городах Европы.

Чем дальше я повторял в своем темном приюте это стихотворение, тем яснее видел красоту его формы: широкий жест вступления, поднимающего занавес, открывающего вид на величественные руины под высоким небом Кампаньи, потом шепот пентаметра, похожий на плеск Тибра в глинистых берегах. Будь я поэтом, владеющим волшебной силой слова, я писал бы гномическую поэзию. Будь я тщеславен, хотел бы я войти в историю как автор такого двустишия.

В этой встрече с книгами был некоторый элемент магии: словно явился столик, сам накрывшийся готовыми кушаньями, или ковер-самолет, на котором, коли есть охота, можно перенестись в дальние края. Этот элемент не ускользнул от моего внимания, и в зимнем приюте у меня было время над ним призадуматься.

Ковер-самолет — это по сути всего лишь литературная метафора, описывающая явление, так или иначе известное. У каждого настоящего путешественника есть свой ковер-самолет. Его не остановят трудности странствия, границы, фронты, демаркационные линии, визы, пропуска, большие пространства и прочие препятствия. Когда мы видим его — худого, почерневшего, с ногами, разбитыми тысячекилометровым маршем, упрямо молчащего, ошалевшего от мелькания пейзажей, — мы понимаем, что тяготы пути — это только цена его страсти.

Ковер-самолет оказывается за пределами естественного порядка вещей, если попадает в руки того, кто не призван, то есть человека, который не ощущает императива странничества и довольствуется двумя-тремя путешествиями на ковре-самолете, после чего женится и ведет счастливую жизнь человека оседлого.

На Ближнем Востоке известна формула, которая на левантинском французском звучит так: “*Qui mange du caviar noir, Dieu lui donne toujours un peu de caviar noir*”. “Тому, кто питается черной икрой, Бог всегда пошлет немного черной икры”.

Какими извилистыми путями табак и махорка добираются всюду, где есть курильщики? Так же и книги везде поджидают читателя. В тех местах, где, казалось бы, трудно даже с вином и хлебом, в лесных убежищах, на корчевьях, у сплавщиков и моряков — везде прячутся книги, ждущие своего читателя. Чем взыскательней его вкус, чем выше требования, тем более редкое и прекрасное чтение его ожидает. Ему достаточно всегда быть собой, гордо упорствовать в своих запросах, ни в коем случае не капитулировать, быть как тот левантинский любитель икры, упрямо требующий от своего бога любимой закуски.

В последний день перед тем, как сойти с гор, я отнес мешок с книгами в корчму контрабандистов. Насколько я знаю, корчму эту потом многократно грабили, а обитатели ее либо погибли насильственной смертью, либо были рассеяны по свету. Кто знает, какова была судьба книг? Грабившие корчму солдаты и бандиты искали прежде всего водку и курево, наверняка мало интересующаясь книгами. Быть может, в руинах корчмы книги до сих пор ждут своего читателя. Тому, кто их найдет и прочтет, неизвестному любителю Вергилия и латинских поэтов эпохи Возрождения — *salutem*.

(1948)



Гжегож Пшебинда

КАПЕЛЛАН КРАКОВСКИЙ И ВСЕЯ ПОЛЬШИ

После смерти отца Юзефа Тишнера (1931-2000)



Когда меня попросили написать российскому читателю несколько слов об умершем 28 июня замечательном польском философе, богослове, публицисте, университетском профессоре и священнике Юзефе Тишнере, мне поначалу захотелось от всего сердца отказать. Ибо как можно на двух-трех страницах описать личность и творчество человека, оказавшего столь огромное влияние на историю Польши после 1980 года? Человек этот спокойно и терпеливо жил среди нас, в Кракове, и я, на протяжении почти двадцати лет, имел великое счастье встречаться с ним лично: в редакции «Тыгодника Повсшехного» – как с коллегой, в Папской Теологической Академии – как с преподавателем и учителем, в Институте русской филологии Ягеллонского университета – как с дорогим гостем... Собственно, убедили меня лишь мудрые слова, которые я услышал в связи с этой смертью: «Ответственность пишущего сейчас о Тишнере так велика, как велика утрата, вызванная его кончиной...» Однако сомневаюсь, что делаясь этими посмертными воспоминаниями, я смогу выдержать хотя бы малую часть такой ответственности...

Годами встречаясь с Юзефом Тишнером в Кракове и видя, как он всегда умеет найти общий язык с любым собеседником, независимо от его национальности, возраста, пола, образования и политических убеждений, я часто вспоминал то, что некогда сказал Гоголь об А.С. Пушкине:

«Как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком – грек, на Кавказе – вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский весь с головы до ног; все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем».

Как будто бы это было сказано о Юзефе Тишнере... Он, родившийся в семье учителя в Старом Сонче, никогда не терял контакта с польскими горами и всегда – из Вены ли, Парижа, Берлина, Лондона или Кракова – возвращался в Лопушну, родину его матери, горную деревушку, лежащую в тени горы Турбач. В 1997 году он издал ставшую бестселлером «Историю философии по-гуральски¹», в которой идеи Сократа, Платона, Демокрита, Протагора замечательно переведены на язык польских горцев. Он обладал великим даром самоиронии. Многие слышали, как он рассказывал, что в 1949 году на Юридический факультет Ягеллонского университета его приняли за добросовестное изложение биографии Ленина. Вскоре он перевелся на Теологический факультет (ликвидированный в 1954 г.; последним, кто защитил на нем докторскую, был Кароль Войтыла, в будущем – Иоанн Павел II), а в 1955 году был рукоположен. В 1963 году Тишнер защитил кандидатскую диссертацию по философии у Романа Ингардена, феноменолога, самого выдающегося польского философа первой половины XX века, и вскоре (в 1965 г.) начал сотрудничать с редактируемым Ежи Туровичем «Тыгодником Повсшехным» – единственной свободной газетой коммунистической части Европы, которая вдобавок сумела пережить все режимы ПНР, сохраняя при этом лицо и католическо-гуманистическое достоинство.

О философской позиции Тишнера лучше всего написал Лешек Колаковский (автор, в частности, фундаментального труда «Основные течения марксизма»: «Метафизические вопросы, с которыми он, конечно же, был связан, интересовали его настолько, насколько они имели значение для жизни твоей и моей, для жизни каждого из нас. Видимо отсюда бралось у него ощущение, что для наших времен томистическая философия и томистическая традиция в Церкви, если можно так выразиться, малопитательны; в самом деле, томистом Тишнер не был, а причина крылась видимо вот в чем: учение св. Фомы было попыткой перековки христианской Благой вести в необыкновенно рациональную метафизику, в то время как для Тишнера стимулом к философскому мышлению был вопрос того нередацируемого человеческого субъекта, каким являемся мы – ты и я...» Основой этики Тишнера была



философия диалога; пожалуй, он был самым выдающимся польским собеседником Эммануэля Левинаса. Свято веря в то, что истина, красота, благо, свобода действительно существуют, он боялся как нечеловеческого Бога, так и безбожного человека XX века.

Все книги Тишнера, изданные в 1975-2000 гг., стали значительными событиями в интеллектуальной жизни нашей страны. «Мир человеческой надежды» (1975) заставил католическую Польшу заново присмотреться к спору о природе Бога и человека. «Мышление в свете ценностей», базирующееся на идеях Эдмунда Гуссерля, Романа Ингардена и отцов герменевтики: Дилтея, Кассирера, Хайдеггера, Рикёра, провозглашало «близкий конец томистического христианства». Именно в этой книге Тишнер сослался на «Redemptor hominis» («Искупитель человека») – первую энциклику Иоанна Павла II, шедевр европейского гуманизма, напоминая, что «человек – основной путь Церкви». В «Философии драмы» (1990) одним из главных действующих лиц стал Достоевский со своими героями: «Отношение человека к правде образно представляют два примера: защита Сократа и защита Раскольникова из «Преступления и наказания» Федора Достоевского. Сократ защищается от ложного обвинения, Раскольников – от обвинения правдивого. Для Сократа правда – путь к спасению жизни, для Раскольникова путем к спасению является ложь».

В «Споре о существовании человека» наряду с фамилиями многих выдающихся европейских философов, рядом с Иовом, Христом и евангелистом Иоанном появляются упоминания о ГУЛАГе и «героическом поступке» Павлика Морозова. Юзеф Тишнер никогда не забывал, в каком месте и в какое время рождается его философия. Одного из критиков Иоанна Павла II он упрекал в непонимании того, что польский папа «соприкоснулся с Освенцимом и Кольмой». И в то же время, парафразируя драматическое высказывание Альберта Камю, он говорил: «После Христа даже крыса может надеяться».

Огромное влияние на жизнь Польши оказала общественная деятельность Юзефа Тишнера, капеллана движения «Солидарность». В 1980 году в знаменитой проповеди, произнесенной на Вавеле, он обращался к лидерам недавно возникшей «Солидарности» со словами: «Носите бремена друг друга», – и утверждал, что «самая глубокая солидарность – это солидарность человеческой совести». В нашумевшей «Этике солидарности» (1981), ставшей Библией мыслящих рабочих, борющихся за права человека, он писал: «Задумываемся мы и над вопросом независимости Польши. Сегодня смысл этого вопроса иной, нежели в XIX веке. Ключом к независимой Польше является работа над работой, размышление о культуре человеческого труда. Сегодня ключ к независимости – это независимость польского труда...» Все это полностью сбылось. Мы обрели Третью Речь Посполитую без борьбы и кровопролития именно вследствие «работы над работой». Говоря словами Юзефа Тишнера: «Река, особенно польская река, всегда впадает в свое море».

В польскую Церковь он внес свежее веяние духа II Ватиканского Собора, став в этом отношении великим союзником Иоанна Павла II. В «Польских очертаниях диалога» (1981) он искал друзей вне Церкви, в диалоге с неверующими протягивал руку польским либералам-агностикам. И нужно смиренно склонить голову, когда Адам Михник, нынешний редактор «Газеты wyborczej», крупнейшего в Польше ежедневного издания, некогда диссидент, узник ПНР, друг, а иногда и задиристый оппонент Тишнера пишет после его смерти: «О кончине отца Юзефа Тишнера я думаю с отчаянием. Он принадлежал к той формации, которая – вслед за Иоанном Павлом II – преобразила польский католицизм, наметила новые духовные пути польской интеллигенции, качественно изменила польские споры. Благодаря ему Польша стала совсем другой страной, но без него она уже никогда не будет тем прекрасным краем, где Тишнер пересыпал свои философские эссе гуральскими анекдотами».

Тишнер не обижался на мир, искал друзей за пределами Польши, на Западе и Востоке. Не знаю, был ли он когда-нибудь в России, но из разговоров с ним мне известно, как интересовала его российская действительность, как тревожился он из-за закостенелого фундаментализма некоторых иерархов Русской Православной Церкви. Точно так же не любил он – впрочем, с искренней взаимностью – сторонников «чисто польского католицизма», подобных российским православным из группы «Радонезь»... Он был христианским философом надежды, очень не любил, когда кто-нибудь плохо отзывался о человеке, считал, что именно это – «богохульство», охотнее рассуждал о рае, нежели об аде.

Опять-таки не знаю, изданы ли какие-либо его произведения по-русски, но за три недели до смерти Тишнера я услышал, что он был бы очень рад, если бы на язык Достоевского была переведена его короткая «Помощь в испытании совести» (2000) – книга, которую он писал в ужасных страданиях, мучимый неизлечимой болезнью... Мне известно, что труд этот начат, и я надеюсь, что в одном из ближайших номеров «Новой Польши» «Испытание совести» Тишнера будет опубликовано как прелюдия к российскому изданию многих других его произведений.

¹ Гурали – коренные жители польских Татр (дословно «góral» значит «горец») – Пер.



Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

✦ В Кракове закончился фестиваль документальных и короткометражных фильмов. В этом году и “Золотого Дракона”, главную премию международного конкурса, и “Золотого конька”, главную премию польского конкурса, получила за свой режиссерский дебют “Бенекблюз” Катажина Мацейко-Ковальчик. Замечательный монтажер, она впервые стала к кинокамере, чтобы, как сама говорит, “поделиться со зрителями историей необычайного человека и уверенностью в том, что больные люди имеют такое же право на жизнь и радость, как здоровые”. Герой ее фильма — фотограф-инвалид Бернард Бен Добровольский. Лауреатом международного конкурса мультфильмов стала картина русского режиссера Константина Бронзитова “На краю света”, лауреатом конкурса документальных фильмов — “Кровавая дорога” шведки Гуннилы Брексен, а за премию лучший сюжет получил испанский фильм “Банки” Альберта Родригеса и Санти Амодео. В польском конкурсе премии получили Анджей Вольский (“Ян Лебенштейн — дневник одиночки”) и Кшиштоф Буковский (“Читая Сенкевича в пустыне Негев”). “Сегодня краковский фестиваль — важнейшая в стране демонстрация киноискусства в чистом виде — без звезд, без давления рекламы”, — писал в “Газете выборчей” Тадеуш Соболевский.

✦ На польские экраны вышло “Третье чудо”, кинофильм Агнешки Холланд (“Провинциальные актеры”, “Таинственный сад”, “Европа, Европа” и др.), в настоящее время работающей в США. “Как согласовать две необходимости: веру и свободу — вот дилемма, которую ставит автор в своем фильме”, — пишет один из критиков.

✦ В Лагове, над любусскими озерами, уже на протяжении 30 лет ежегодно проходит “Любуское кинолето”. Поначалу это были встречи под эгидой дискуссионных кино клубов. Со временем они преобразовались в показ кинофильмов Центральной и Восточной Европы. В этом году было показано 150 фильмов.

✦ В Варшаве закончился 18-й Международный кинофестиваль “Разрешено до 21 года”, посвященный фильмам молодых режиссеров-любителей. Победителем стал кинофильм Доминика и Петра Матвейчиков “Видеомания, эпизод 4” — рассказ о человеке, который ничего не делает, а лишь смотрит фильмы — и пытается избавиться от своей мании. Событием стал также фильм “Война такая страшная, и среди детей нет ее сторонников”, снятый 12-летним Михалом Ольшевским и получивший премию в категории польских фильмов.

✦ Анджей Вайда — третий за всю историю Варшавской академии художеств — получил ее почетную докторскую степень. Вайда начинал свой путь именно с изобразительного искусства. “Я здесь, — сказал он, выступая на церемонии присуждения степени, — вроде дезертира, у которого не было ни сил, ни мужества стать настоящим художником”. В варшавской галерее “Кордегардия” открыта выставка “Три проекта”, на которой экспонируются подготовительные работы Анджея Вайды к трем архитектурным и скульптурным объектам.

✦ Впервые на аукционную продажу были выставлены картины из собрания Эвы и Войцеха Фобаков — самой знаменитой частной коллекции польской живописи. Среди них, в частности, картины “Австрийский гусар на коне” Петра Михаловского, “В мастерской” Ольги



Бознанской, “Автопортрет на фоне хора” и “Polonia” Яцека Мальчевского. За последнюю картину на аукционе “Поль-Сюисс арт” была заплачена самая высокая цена — 1,6 млн. злотых.

✦ В Национальном музее в Варшаве открылась выставка картин Яцека Мальчевского. Ее основу составили работы, которые ранее были с большим успехом показаны в Париже, здесь же к ним прибавились экспонаты из польских частных собраний.

✦ В качестве дополнения к выставке “Вещи заурядные” (см. предыдущий номер журнала) Варшавский национальный музей устроил распродажу старых предметов быта. Приглашены коллекционеры и скульпторы. Организаторы ищут также владельцев сатураторов — уличных автоматов газированной воды, неотъемлемой части быта — или скорее уличной жизни — 50-х и позднейших лет.

✦ В Музее плаката в Вилянуве под Варшавой прошло 17-е Международное бьеннале плаката, старейшее в мире регулярное мероприятие, посвященное этой области творчества. В отдельных категориях золотые медали получили: за идейный плакат — Александр и Светлана Фалдины (Россия); за плакат, пропагандирующий культуру, — Стивен Сагмейстер (США); за рекламный плакат — Гийци Окадзаки (Япония). Две премии получили польские художники — Францишек Старовецкий и Мартин Владыка.

✦ В Центральной армейской библиотеке открыта выставка польского армейского плаката. На ней экспонируются около 200 никогда ранее не выставлявшихся плакатов, документально представляющих историю польской армии после восстановления независимости Польши в 1918 г. Авторы многих плакатов — выдающиеся художники, в т.ч. Войцех Коссак и Марек Жулавский.

✦ В только что отремонтированном здании Еврейского исторического института можно ознакомиться с Галереей еврейского искусства, посвященной культуре и религии европейского еврейства. Там выставлены, в частности, картины Мауриция Готлиба и Самуэля Гиршенберга (учеников Матейко), а также работы художников “Парижской школы” — Романа Крамштыка и Зигмунта Менкеса.

✦ В рамках фестиваля “Краков-2000” в Краковском археологическом музее подготовлена и открыта постоянная экспозиция египетских древностей, включающая памятники от истоков Древнего Египта до времен раннего христианства. К самым интересным экспонатам относятся две мумии с серебряными масками.

✦ В краковской галерее современного искусства “Бункер искусства” открыта выставка “Тадеуш Кантор. Невозможное”. Другой выдающийся деятель польского театра, Хенрик Томашевский (Вроцлавский театр пантомимы), экспонирует во вроцлавском Этнографическом музее свое собрание кукол и игрушек.

✦ В варшавском Театре на Воле состоялся Международный фестиваль пантомимы, включивший мастер-классы. “Мы живем в уверенности, что все можно высказать словом, — говорит Стефан Недзялковский, один из организаторов фестиваля. — А между тем это не так. Мы воспринимаем чувства людей через их поведение, через язык всего человеческого тела. Мим — это искусство движения и неподвижности”.

✦ Польский мюзикл “Метро” (либретто Агаты и Марины Миклашевских, музыка Януша Стоклосо, постановка Януша Юзефовича) идет в Варшаве уже десятый год. 30 мая в варшавском Драматическом театре прошло сотое представление.



- ✦ Кристина Янда вместе со своей дочерью Марией Северин сыграли мать и дочь в польской премьере пьесы Дональда Маргулиса “Всеякие рассказы” на сцене варшавского “Театра повсехного”.
- ✦ В Познани прошел Всепольский фестиваль частных актерских училищ, которые по замыслу составляют альтернативу государственным, зачастую слишком консервативным и ограниченным формальными требованиями. Наградой за лучшее частное училище отмечена Актерская школа Яна и Галины Махульских из Варшавы.
- ✦ В варшавском Клубе книгопродавцев была представлена последняя книга журналиста и публициста Стефана Братковского “Путешествие в новое будущее” — сборник статей и исторических очерков. Общую идею книги представлявший ее Анджей Хаусбрандт выразил так: “...умно задуманный и умно исполненный труд был, есть и останется основной ценностью, обуславливающей будущее человека, народа и государства”.
- ✦ Вышли две новые книги Густава Херлинга-Грудзинского — “Самый короткий путеводитель по себе самому” и “Звон по звонарю”. Обе они представляют собой продолжение спора писателя с самим собою и миром. Самая известная ипостась этого спора — “Ночной дневник” Херлинга-Грудзинского, десятилетиями печатавшийся в парижской “Культуре”, а теперь продолжающийся на страницах варшавской газеты “Жечпосполита”.
- ✦ В польско-швейцарском издательстве “Noir sur blanc” вышел “Дневник возвращения” хорошо известного в России Славомира Мрожека. Эта остроумная и провокационная книжечка — “произведение человека, у которого уже нет иллюзий, но нет и остервенелого юношеского гнева”, — писала в рецензии Хелена Загорская. Сам же Мрожек пишет: “Мы забрели в демократию так далеко, что возникают опасения, как бы мы не прошли ее насквозь и не оказались с другой стороны. Мы — то есть вся наша старая, почтенная цивилизация, к которой начали принадлежать и поляки”.
- ✦ В мае исполнилось три года со дня смерти Анджея Дравича, выдающегося польского русиста, переводчика и публициста, в 90-е гг. — первого директора государственного телевидения после выхода из коммунизма.



**КОГДА МЫ ЗАКРЫВАЛИ ЭТОТ НОМЕР,
ДО НАС ДОШЛО ПРИСКОРБНОЕ ИЗВЕСТИЕ,
КОТОРОЕ НЕСОМНЕННО ОПЕЧАЛИТ
НАШИХ РУССКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ:
В НОЧЬ С 4-ГО НА 5-Е ИЮЛЯ В НЕАПОЛЕ
УМЕР ВЫДАЮЩИЙСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ГУСТАВ ХЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ.
В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
“НОВОЙ ПОЛЬШИ”
МЫ ПЕЧАТАЛИ ОДНО ИЗ ЕГО ПОСЛЕДНИХ
И СТОЛЬ ВАЖНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ.**



Ольга Дешко

КРАКОВ — “КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ”

Ежегодно, начиная с 1985 года, один из европейских городов на год избирается “культурной столицей Европы”. Решение об этом принимает специальное жюри в составе министров культуры нескольких европейских государств — членов Европейского союза. Учитывая особый характер 2000 года, было решено сделать такими столицами девять европейских городов. Кроме Кракова, в число этих столиц входят Авиньон, Берген, Болонья, Брюссель, Прага, Хельсинки, Рейкьявик и Сантьяго-де-Компостела. Решение было объявлено в 1995 г., и тогда же городской совет Кракова принял программу фестиваля европейской культуры “Краков-2000”, рассчитанную на пять лет (1996-2000). Фестиваль получил поддержку не только видных деятелей польской культуры, но и правительства Польши. Премьер-министр Ежи Бузек отметил его государственное значение: “Событие, каким является фестиваль “Краков-2000”, а также присуждение Кракову статуса культурной столицы Европы 2000 года дает исключительную возможность представить Польшу в Европе и в мире. Важность и уровень мероприятий, проведенных в рамках фестиваля “Краков-2000” на протяжении последних лет под покровительством выдающихся деятелей культуры: Анджея Вайды, Виславы Шимборской, Чеслава Милоша, Кшиштофа Пендерецкого, — способствовали тому, что фестиваль “Краков-2000” стал визитной карточкой нашей страны”.



Фестиваль стал важным событием, не имеющим аналогов в культурной жизни страны последних лет. Его миссия — показать тесную связь богатой культуры Польши с духовным и историческим наследием европейских городов, а также выявить их общие христианские корни. Достоинство представить Краков, колыбель польского духа и национального стиля, — вот еще одна важная задача фестиваля. Этот город обладает таинственной притягательной силой. Только здесь можно встретить двух нобелевских лауреатов по литературе: Виславу Шимборскую и Чеслава Милоша. Тут живет известнейший кинорежиссер с мировым именем Анджей Вайда. В свой родной Краков после многолетней эмиграции вернулся ведущий польский драматург Славомир Мрожек. Здесь создает свои оратории и симфонии лауреат премии “Величайшему живущему композитору” 2000 года Кшиштоф Пендерецкий.

С 1996 года в Кракове проходили очередные этапы фестиваля. 1996 год был объявлен *Годом кино и театра* под покровительством Анджея Вайды. В ночь на Ивана Купалу было проведено массовое народное гулянье “Вянки’96”, прошли также V Фестиваль содружества театров Европы и выставка изобразительных искусств “Я это люблю”, на которой была представлена панорама польской живописи. К 100-летию кинематографа Анджея Вайды, большой поклонник японского искусства, подготовил ретроспективный просмотр фильмов Акиро Куросавы, а также цикл “10 фильмов, которые потрясли мир”.

1997 год был провозглашен *Годом поэзии*, его организаторами стали лауреаты Нобелевской премии по литературе Вислава Шимборская и Чеслав Милош. Краков тогда заслуженно называли “городом поэзии”. В рамках фестиваля проходили многочисленные литературные встречи, проводились вечера авторской песни, поэтические спектакли. Важнейшим мероприятием этого года стала встреча поэтов Востока и Запада. В Краков съехались известные поэты из многих стран мира. Кроме множества



встреч поэтов с читателями и слушателями, прошла панельная дискуссия “Научилась ли чему-нибудь поэзия от истории XX века?”.

В этом же году прошел I Бетховеновский пасхальный фестиваль, приуроченный к 170-й годовщине со дня смерти композитора. Поводом к возникновению фестиваля послужила выставка рукописей Людвиг ван Бетховена, находящихся в хранилище Ягеллонской библиотеки. Массовый зритель мог участвовать в большом концерте под открытым небом популярного в Польше композитора Горана Бреговича. Важным событием для любителей джаза явилось выступление легендарного гитариста Пако де Люсия.

1998 год был годом Кшиштофа Пендерецкого или *Годом музыки*. Польский композитор обратился к творчеству величайших композиторов разных эпох. Главными событиями этого “музыкального” года стали два фестиваля: II Бетховеновский пасхальный фестиваль и фестиваль Кшиштофа Пендерецкого, признанный событием европейского масштаба. Концерты таких знаменитых исполнителей как Мстислав Ростропович, Борис Пергаменщиков, Владимир Спиваков сопровождала выставка нотных рукописей Моцарта и Гайдна. Большой интерес вызвала выставка партитур Кшиштофа Пендерецкого, придумавшего собственную систему записи нот в цвете.

1999 год стал подготовительным к кульминационному 2000-му. Важными событиями этого года были очередной Бетховеновский пасхальный фестиваль, Малопольский фольклорный фестиваль, а также XXIV Краковские театральные реминисценции “Альтернативная Европа — политика и театр”. Ведущие польские литературоведы, философы и историки собрались в Международном литературном кафе, чтобы обсудить проблематику восточнославянской мифологии в европейском контексте. Одно из заседаний в кафе было посвящено творчеству акмеистов: Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева.

2000 год в фестивальном Кракове начался 15 января инсценированным представлением “Шествие польских королей на Вавель¹”. Впервые символикой “Шествия” воспользовался в 1997 г. Анджей Вайда, используя в живых картинах проект гигантской скульптурной композиции известного польского архитектора Вацлава Шимановского, созданный в 1912 г. и вызвавший в свое время горячую полемику. Само решение “оживить” польских королей по случаю фестиваля “Краков-2000” и прошествовать с ними по улицам праздничного города под звон колокола Сигизмунда многим участникам показалось очень уместным и забавным. “Шествие” королей закончилось у стен дворца Велопольских, в котором происходила официальная церемония открытия фестиваля. Представитель бургомистра города Веймара — прошлогодней культурной столицы Европы, торжественно передал “эстафетную палочку” Кракову. В церкви Доминиканцев меломаны прослушали фрагмент литургии XII века “Codex Calixtinus”. Оригинал манускрипта, известный как “Liber Sancti Jacobi”, находится в Сантьяго-де-Компостеле. В расшифровке его музыкальной части участвовали польские музыковеды. В день открытия фестиваля глава краковского духовенства принял в дар копию этого уникального документа.

Девиз краковского фестиваля: “Мысль — духовность — творчество”. Организаторы подчеркивают, что фестиваль будет проходить в первую очередь под флагом “духовности”, поскольку именно духовность лежит в основе тысячелетней христианской культуры Польши. Судьбу страны, судьбу Кракова — города польских королей — формировало не только слияние двух христианских традиций Запада и Востока, но и иудейская культура, а иногда — незаслуженно замалчиваемое византийское влияние. В этом году все эти традиции широко представлены в виде выставок, концертов, тематических циклов, а также малых фестивалей. Открытие фестиваля “Краков-2000” было отмечено выставкой икон, написанных не только в России и на Украине, но и на давнишних восточных землях польского государства. Среди представленных экспонатов доминируют иконы Богоматери, что является определенным знаком приверженности Польши восточнохристианской традиции. Выставка получила поэтичное название “Молитвой писаные образа”, указывая на ту духовную почву, которая взрастила искусство иконы. Выставке сопутствовал фестиваль церковной музыки, на котором выступили хоровые коллективы и камерные ансамбли из России, Белоруссии, Польши, с Украины, а также из Бельгии и Швейцарии.

Организаторы постарались представить свидетельства того, что Краков черпал и из западных традиций. Примером тому стал совместный проект исполнения во всех культурных столицах Европы 2000



годового литургического цикла песнопений “Codex Calixtinus”. Эти концерты должны напомнить слушателям в разных странах, что еще в Средние века Европа была колыбелью общих духовных, интеллектуальных и художественных ценностей. Европейскую общность подтверждает и тот факт, что Краков находился на пути следования паломников, направлявшихся к гробу св. апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостелу. Это неблизкое расстояние будет еще раз преодолено 25 июля, когда в Кракове состоится “реконструкция” литургии, совершавшейся в XII веке в соборе св. ап. Иакова.

Богуслав Соник, один из руководителей фестиваля “Краков-2000”, отметил, что организаторы стремились сделать фестиваль не только элитарным праздником, но и подключить к нему массы — всегда и любителей “хлеба и зрелищ” под открытым небом. Красочным и массовым было народное гулянье в ночь на Ивана Купалу — “Вянки”, традиционный праздник краковян, уходящий своими корнями в давнее славянское прошлое. Уильям Перкинс, французский продюсер массовых зрелищ, предложил зрителям принять участие в необычном спектакле. Его действие происходит на реке Висле, в воздухе и на Вавельском холме. Река, по которой краковяне ежегодно пускают венки, стала сценой балетного представления, и здесь на объемных экранах разыгрался спектакль с участием легендарных героев польской мифологии и истории. Вторым интересным музыкальным спектаклем станет концерт “Голоса Европы”, в котором примут участие молодые исполнители из стран, где расположены культурные столицы Европы 2000 года. Этот сборный международный молодежный хор исполнит репертуар, включающий в себя и фольклор, и религиозные песнопения, и поп-музыку. Солисткой выступит исландская поп-звезда Бьорк.

Эльжбета Пендерецкая, директор программного совета фестиваля, считает, что программа фестиваля настолько интересна и разнообразна, что может удовлетворить и вкус искушенных меломанов и любителей театрального искусства. “Я мечтаю, чтобы в этом году Краков не только заблестал в Польше и Европе, но и обозначил наше место на карте мировой культуры”, — высказала она свое пожелание. Эльжбета Пендерецкая предложила любителям классической музыки интереснейшую программу: IV Бетховеновский пасхальный фестиваль, посвященный симфонической музыке от Бетховена до Малера, откроет выступление известной немецкой скрипачки Анны-Софии Муттер. Значительным событием станет концерт оркестра Нью-Йоркской филармонии под управлением Курта Мазура. Оркестр выступит на Вавельском холме, а концерт будет транслироваться на гигантском экране, размещенном на Рынке — краковской центральной площади.

Стоит также отметить театральный фестиваль “Театр огромный”, посвященный знаменитому польскому драматургу, поэту и художнику Станиславу Выспянскому; его цель — показать многогранность творчества Выспянского. Другой важный театральный фестиваль — “Сегодня мой день рождения”; он посвящен 10-й годовщине со дня смерти творца современного польского театра Тадеуша Кантора и продолжается весь год.

По мнению организаторов, большой интерес у посетителей должна вызвать выставка “Вавель. 1000-2000”, экспонирующая наследие польского прикладного искусства, собранное в сокровищнице Вавельского холма.

Программа фестиваля разнообразна, как калейдоскоп: монографическая выставка художника польского романтизма Петра Михаловского и фестиваль “Краковская балетная весна”, на котором выступили балетные труппы из Израиля, США, России, Швеции, X фестиваль еврейской культуры и выставка “Боги древнего Египта”, концерты джазовой музыки и XIII Международный фестиваль уличных театров — это далеко не полный перечень мероприятий фестиваля “Краков-2000”. В его ежедневной праздничной атмосфере краковяне и гости польской культурной столицы будут жить до конца года. Город ожидает более одного миллиона туристов, и все они будут находиться под опекой Маскарона — доброго духа, символа фестиваля. Добро пожаловать в польскую и европейскую культурную столицу — Краков-2000!

¹ *Вавель* — холм в Кракове, на котором расположены королевский замок и кафедральный собор



РУБЕЖ ВОСТОКА ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ

С Мечиславом Прушинским беседует Ремизиуш Гжеля

Мечислав Прушинский родился в 1910 году. По образованию - юрист и экономист. В 1939 году защитил кандидатскую диссертацию в Ягеллонском университете. Работал во внешней торговле. Уйдя на пенсию, управлял доверенными фондами в Швейцарии. Занимается публицистикой. Перед войной сотрудничал с "Бунтом молодых" и "Политикой" Ежи Гедройца. Во время второй мировой войны участвовал в боях под Коцком, Нарвиком, Тобруком. О своей военной судьбе писал в книгах "В Нарвике, Тобруке и Моските" (Варшава, 1957) и "В Моските над Третьим Рейхом" (Варшава, 1984). Название первой книги словно бы предполагает, что на карте есть некий "Москит". Между тем, это название типа боевого самолета, на котором летал автор. Книги Прушинского - красочные воспоминания, во второй из них, в частности, рассказывается о встрече с генералом Андерсом.

Книга "Те" (Варшава, 1992) - сборник интервью с политиками II Речи Посполитой - получила огромную известность, это необычайно интересный исторический документ. Столь же знаменитой была следующая книга Прушинского - "Драма Пилсудского - война 1920" (Варшава, 1994, 1995, 1999 - с предисловием Ежи Гедройца). Пилсудским он интересовался всегда, еще в шестнадцать лет опубликовал в школьной газете статью о его "киевском походе". Книга о 1920 годе была не последней работой Прушинского о маршале. В 1997 году вышла "Тайна Пилсудского". Историк открывает в ней, что тайной Пилсудского было его убеждение в том, что война с Германией означала бы конец существования Польши. Три года назад в интервью газете "Жиче Варшавы" Мечислав Прушинский сказал: "И сегодня ничего не изменилось. Потенциал Польши недостаточен, чтобы в этой точке земного шара сохранять нейтралитет. Для того, чтобы вступить в Европейский Союз и НАТО, надо сотрудничать с Германией. Это по-прежнему актуально".

Несколько лет назад вышла еще одна книга М. Прушинского - "Моисей и Ксаверий", в которой есть интересные страницы о жизни его брата, Ксаверия Прушинского. Однако больше всего эмоций в настоящее время вызывает основанный им Культурный фонд Прушинских. Именно о нем, а также о политической ситуации в Европе я и беседовал с Мечиславом Прушинским в его квартире, в варшавском районе Охота.

— Фонд Прушинских, о котором последнее время говорят все чаще, в 1999 г. выделил около 200 тысяч долларов на стипендии для студентов из-за наших восточных границ. Однако пока вы обратились с этим предложением только к украинским властям. Будет ли шанс у студентов из других стран?

— В уставе фонда мы записали, что наша главная цель — поддержка культурной, исторической и образовательной деятельности на землях, до 1772 г. входивших в состав Речи Посполитой Обоих Народов, следовательно, наша программа может касаться студентов правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии. 60 лет назад я взял интервью для "Бунта молодых" у премьер-министра Владислава Грабского, который, между прочим, сказал, что самое важное для будущего Польши — просвещение. Важнейшей задачей просвещение остается и сегодня. Отсюда наши критерии.

— Вы полагаете, просвещению сегодня уделяется недостаточное внимание?

— Видите ли, на так называемых возвращенных (Западных) землях поля заброшены, а люди, работавшие когда-то в госхозах, сидят без работы, пьют водку. Коммунизм убил желание работать. Мы упустили целое поколение. Теперь надо спасать дело.

— Почему фонд обратился пока только к властям Украины?

— Потому что действовать следует постепенно. Фактически я один. У меня нет штаба, как, например, у Фонда Батория с его 250 сотрудниками. В мае прошлого года мы обратились с предложением о стипендиях к руководству Ягеллонского и Киевского университетов. Сотрудничество с Ягеллонским университетом оказалось плодотворным несмотря на все бюрократические трудности. В результате 28 февраля первые 67 студентов получили деньги. А Киевский университет вообще не откликнулся на наше предложение.



— *А как отнеслись к вашему предложению украинские власти?*

— В принципе очень доброжелательно и положительно. Но пока за этим ничего не последовало. Я сам разработал этапы программы присуждения стипендий. Сначала должно быть 50 десятимесячных стипендий в год. Разумеется, на учебу в Польше. Впоследствии мы могли бы присуждать также трехмесячные стипендии — уже не нескольким десяткам, а нескольким сотням студентов с Украины. Это дало бы им возможность знакомиться с культурой, экономикой и историей Польши.

— *Как вы думаете, почему украинцы до сих пор не приняли решения?*

— Наше предложение было доброжелательно воспринято украинскими властями. Посол Украины в Польше предложил направить письмо тогдашнему украинскому министру просвещения Зайчуку. Министру замысел очень понравился. По совету посольства Украины письмо того же содержания с конкретными предложениями я направил министрам высшего образования Украины и Польши. Они должны были совместно претворить замысел в жизнь: украинские — отобрать кандидатов, а польские — выделить места в высших учебных заведениях (в соответствии с предложениями украинской стороны). Польские власти должны были также обеспечить проживание в студенческих общежитиях с оплатой за счет стипендии. Фонд мог бы дать стипендиатам по 350 долларов в месяц и оплатить стоимость проезда в Польшу и обратно на Украину. Мы подсчитали, что суммарные расходы составят около 185 тыс. долларов в год. Министр Зайчук пригласил меня в Киев, однако по состоянию здоровья поехать я не смог. А тем временем произошла смена правительства, и дело застопорилось. Две недели назад меня посетил украинский посол в сопровождении замминистра просвещения Украины. Надеюсь, наши переговоры принесут плоды. Меня очень порадовало, что посол, известный писатель Дмитро Павлычко весьма высоко оценил мою книгу о 1920 г., которая издана и в Киеве. Я объясняю там, почему Пилсудский организовал поход на Киев. Из книги ясно следует: он думал о создании союзной Польше независимой Украины. Отсюда название книги: “Год 1920 — победа или поражение?” Пилсудский считал, что потерпел политическое поражение, поскольку был убежден, что существование свободной Украины необходимо для того, чтобы существовала Польша. А этой цели он не достиг.

— *С Украиной вас многое связывает. Стипендии — еще один поклон в ее сторону. Если не ошибаюсь, вы связаны с Украиной семейными узами...*

— Да, это так. Семья Прушинских три столетия жила на Украине и, не скрою, сыграла известную роль в ее развитии. В XVIII веке кастелян Станислав Прушинский основал кафедральный собор в Житомире, существующий до сего дня. Мечислав Прушинский, отец моего отца, предводитель дворянства, до 1863 г. был инспектором школ тогдашней Волынской губернии. Ничего удивительного, что и я питаю слабость к Украине, хотя покинул ее в 1919 г. с вещмешком на спине, вместе с матерью и братом.

— *Вы говорили, что трудно довести переговоры до конца. Когда можно ожидать претворения вашей программы в жизнь?*

— Для многих это лишние хлопоты и дополнительная работа. А чиновники этого не любят. Мне говорили, что на высшем уровне наладить дело не удастся. Надо вести переговоры непосредственно с вузами. Недавно “Газета wyborcza” поместила заметку о наших трудностях. После этого мне позвонил директор Высшей торговой школы в Жешуве и предложил принять 50 украинских студентов. Но это не самый лучший путь. Я не хочу устраивать гетто. Я предпочел бы, чтоб они учились в разных вузах.

— *Может ли деятельность фонда влиять на формирование польско-украинских отношений?*

— Думаю, что она может их улучшить. Если несколько десятков, а то и сотен украинских студентов каждый год будут оканчивать польские вузы, узнают наш образ мыслей — это уже очень много. Отсюда уже шаг к взаимопониманию. Сегодня нельзя сказать, чтобы поляки любили украинцев. Надо это преодолеть. Стипендии не изменят положения, но это кирпичик, некое приложенное усилие. Необходимо исправлять накопившиеся за сотни лет ошибки обоих народов и нашей общей истории. Мы делали ошибки, а Россия этим пользовалась.



— *Как можно наладить взаимоотношения?*

— Через культурное и экономическое сближение. Тут все еще делается слишком мало. Сегодня наши отношения состоят в том, что люди с мешками ездят через границу. А надо развивать межгосударственные хозяйственные связи. Это самый перспективный путь.

— *Не является ли самой большой преградой стереотипное мышление обеих сторон?*

— Безусловно. Я часто сталкиваюсь с вопросом: почему вы решили давать стипендии украинцам?! То есть многие поляки не понимают, почему Польша должна сотрудничать с Украиной.

— *Деятельность вашего фонда — шаг на Восток. Не ухудшатся ли наши отношения с Востоком из-за вступления Польши в европейские структуры?*

— Совершенно напротив. По-моему, это может их только улучшить. Ведь НАТО не хочет войны. Цель НАТО — оборона. Конечно, в Соединенных Штатах было большое противостояние допуску Польши в НАТО. Это было вызвано страхом. Средний американец боялся, что США будут втянуты в войну. После интервенции НАТО в Югославии я говорил, что она не имело смысла. На Балканах тысячу лет льется кровь. А госпожа Олбрайт полагала, что умиротворит Балканы. Зная историю, я видел: не получится. Это была большая ошибка, она настроила многих американцев против участия в НАТО.

— *Где, по вашему мнению, начинается Восток?*

— Граница проходит через Польшу. Восток начинается здесь. А мы всё хотим быть “западными”. Вот только удастся ли?

— *С кем из восточных соседей у нас самые плохие отношения?*

— С Белоруссией. Между нами — культурный и экономический барьер. Кроме того, белорусские политики настроены слишком пророссийски и не слишком пропольски.

— *Какое значение для Польши имеет создание Союза Белоруссии и России?*

— Тут простой математический принцип: идеально, когда у страны десяток слабых соседей вместо одного или двух сильных. Посмотрим на историю: нам был на руку распад Германии, а когда возникла Германская империя, это породило опасности. Великая мудрость Пилсудского состояла в понимании, что слабость России — это то, что в нее входит несколько десятков народов. Он знал, что, освободив народы, можно привести к ликвидации империи.

— *Являетесь ли вы сторонником Европы без границ?*

— Это имеет и положительные, и отрицательные стороны. Возрастет бандитизм — уж это точно, но укрепит и экономическое сотрудничество, контакты станут более тесными.

— *А возможна ли вообще такая Европа?*

— Думаю, пока нет. К примеру, Англия очень боится Европы без границ. То, что вы получили визу, не значит, что вас туда пустят. Вы говорили о стереотипном мышлении. Образ поляка в Германии очень ухудшился. В Европе на поляков смотрят с подозрением. Точно так же, как мы боимся гангстеров с востока. На подозрениях и отсутствии доверия ничего не построить, и уж, конечно, на этой почве не построишь единую, открытую Европу.

— *Штаб-квартира фонда находится в княжестве Лихтенштейн, на территории, я бы сказал, нейтральной. Почему?*

— Дело в том, что польское законодательство убивает фонды. А ведь существовала традиция замечательных, больших фондов. Взять хотя бы Фонд Владислава Замойского, которому принадлежал замок в Курнике. Еще до войны этот фонд распался по причине дурного управления. Злотый — последнее средство капиталовложений, какое можно рекомендовать. Зато швейцарский франк оказался самой стабильной валютой XX века. Во-вторых, в Лихтенштейне фонды не платят никаких налогов. Глава Фонда поддержки науки проф. М.В.Габский заявил недавно, что если налоговые правила не изменятся, то через несколько лет, когда кончатся средства, его фонд перестанет существовать. Раз налоговое законодательство изменить нелегко, имело смысл перенести фонд в Лихтенштейн.

— *Спасибо за беседу.*

Варшава, 4 марта 2000 г.

KULTURA



Антоний Кучинский

ЛЮДИ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖЕЙ

Адольф Янушкевич описывает Казахстан

В двухтомной библиографии “История Казахстана” (Алма-Ата, 1988) можно найти немало работ, посвященных деятельности поляков в этом далеком степном краю. Есть там и работы, связанные с личностью Адольфа Янушкевича (1803-1857) — ссыльного поляка, который в первой половине XIX века соприкасался с казахами и в письмах к семье приводил любопытные описания их жизни и культуры. В польской литературе существуют интересные работы по польско-казахским связям, в том числе воспоминания ссыльных. Тематика и фон, на котором связи эти развивались, весьма разнообразны. Корни их уходят в XVIII-XIX вв., когда Казахстан стал для поляков местом ссылки. Следует сказать и о позднейших временах: сначала, в 30-е годы нашего века, сюда ссылали поляков с Украины, затем жителей восточной части Польши — их отправляли на спецпоселение в глубь Казахстана в 1939-1941 гг. В этой стране по сей день существует довольно большая польская диаспора — в последнее время в Польше описанию ее посвящены многочисленные исторические и социологические исследования. Началась и постепенная репатриация поляков из Казахстана.

По этим предварительным замечаниям уже можно судить о сложности судеб поляков, оказавшихся в Казахстане, ибо их пребывание там всегда было связано со ссылкой. Ссылка же положила начало разнообразной деятельности поляков в области изучения культуры, экономики и техники этой страны. Такого рода фактов много, и они нашли отражение в исторических литературных работах казахских авторов. Недавно вышла книга казахского автора Отегена Кумисбаева, озаглавленная “Польша перзенти” (“Сын Польши”, Алматы, 1997) и посвященная Адольфу Янушкевичу — ссыльному поляку, жившему в первой половине XIX столетия, автору интересного описания казахских степей, собирателю легенд и фольклора. Книга эта была встречена с большим интересом, и после ее выхода было много разговоров о традициях польско-казахских связей, возникших, как утверждает, на основе идей известного казахского писателя и поэта Абая Кунанбаева (1845-1904), который подчеркивал, что “настоящую дружбу ничем не разделить, / Шепот волн любви покоряет все рубежи”.

Писатель этот — необыкновенное явление в казахской литературе. В нем сосуществовали мудрец и энциклопедист, а творчество его известно далеко за пределами Казахстана. Кое-что о его отце стало известно как раз благодаря Адольфу Янушкевичу, который записывал свои наблюдения над жизнью казахов: как простонародья, так и аристократии. Его заметки по сей день представляют собой важный источник для этнокультурных и общественно-политических исследований, касающихся Казахстана. Кроме самой фактографии тексты А. Янушкевича исполнены симпатии к казахам, при чтении их возникает неотразимое ощущение подлинности. Многогранный образ, вытекающий из заметок А. Янушкевича, может служить несомненным доказательством того, что он прекрасно знал казахские проблемы тех времен. Так кем же был этот польский друг казахов и летописец их страны, имя которого недавно присвоено одной из улиц Алматы, человек, которому собираются поставить памятник как вечный символ благодарности казахов за описание их культуры, традиций и обычаев?

Адольф Янушкевич родился в Несвиже в 1803 году. Учился сначала в знаменитой винницкой гимназии, а с 1821 г. в течение двух лет — в Виленском университете. Там он познакомился с Адамом Мицкевичем, который спустя годы воссоздал его образ под именем Адольфа в III



части своих знаменитых “Дзядов” — в строфах о порабощении родины, о “доле... сынов родной земли... в узилищах Сибири, / Где Польши летопись полней, чем в целом мире” (пер. В.Левика). Ссылка Адольфа Янушкевича была следствием его участия в восстании 1830-1831 гг. Семь раз раненный, он попал в плен, был судим военным судом в Киеве, получил смертный приговор с конфискацией имущества, позднее замененный ссылкой за Урал. Дорога в ссылку привела его 9 мая 1832 г. в Тобольск. Некоторое время он жил в деревне Желяковой Тобольской губернии, а потом ему разрешили переселиться в Ишим. На присланные семьей деньги он приобрел здесь дом, в котором часто гостили ссыльный польский поэт Густав Зелинский, сложивший позднее поэмы о Казахстане, и поэт-декабрист Александр Одоевский. Янушкевич жил тут неспешно, в своем внутреннем ритме, обогащаясь чтением книг и журналов, которые ему присылали из Польши. Он упорно противился праздности, его отличала интеллектуальная активность. Можно сказать, что его наполненный книгами дом скорее напоминал своеобразную библиотеку, а сам он, занимаясь хозяйством, мыслит категориями человека, готового откликнуться на нужды окружающих. Здесь встречались и вели долгие дискуссии уже упоминавшиеся Г.Зелинский, А.Одоевский и другие ссыльные. Хозяин дома умел и любил беседовать со всеми. В этом можно видеть его доброту и житейскую мудрость. Разумеется, это расширяло круг общения ссыльного поляка. Может быть, именно поэтому он не чувствовал себя тут одиноким, а местная русская администрация благожелательно относилась к его активности. В Ишиме он прожил шесть лет. Он интересовался местными нравами и отношениями внутри общества. Часто он отправлялся за город, наблюдая жизнь русских колонистов и их контакты с местным населением. Янушкевич был внимательным наблюдателем и, несомненно, человеком, знающим толк в литературе по этнографии и фольклору. Он интересовался этнографией, поэтому неудивительно, что его письма и дневник изобилуют такого рода описаниями.

В 1841 г. А.Янушкевич был принят на службу в канцелярию начальника пограничной охраны сибирских киргизов в Омске. Там у него было много чиновничьих обязанностей. В письмах к уже упоминавшемуся Г.Зелинскому он писал, что служба обязывает его “познавать киргизский язык, их законы, нравы, обычаи [...] Я буду секретарем Комитета по составлению проекта киргизских законов. Я — законодатель киргизов! Мне такое и во сне не могло присниться! Удивительны судьбы человеческие — потомки Чингисхана лет эдак через 16 тысяч на страницах своей будущей истории прочтут мое имя и назовут меня вторым Конфуцием. И кто знает, может, в память обо мне поставят какого-нибудь истукана, а на моей могиле будут приносить такие же жертвы, какие приносит один из народов Океании на могилах своих героев”. Его служба в канцелярии продолжалась 12 лет — достаточно долго, чтобы хорошо изучить казахские степи. За это время он много раз отправлялся в нелегкий путь по казахским аулам. Первая такая поездка состоялась в начале 1843 г., и в письме к родным он тогда написал: “...проезжаю довольно высокие горы, покрытые лесами, в которых водятся медведи. Вплавь преодолеваю реки без мостов, никому в Европе неизвестные, а на их берегах я впервые за 12 лет услышал милые моему сердцу трели соловья. Видел киргизские племена, кочующие с тысячей, а то и более юрт и занимающие пространство в двадцать пять или тридцать верст, со множеством коней, верблюдов и скота неописуемой красоты; встречал купеческие караваны, идущие из Ташкента”. Позднее у него будет еще много таких поездок.

В 1853 г. Янушкевич получил отставку и разрешение на выезд из Омска. На некоторое время он поселился в имении графа Анатолия Демидова в Нижнем Тагиле, работал там садовником и библиотекарем. В 1856 г. он был освобожден из ссылки и вернулся на родину. Через год он умер в Дзяхыльне (ныне в Белоруссии) и был похоронен там же.

Работа в канцелярии пограничного начальника сибирских киргизов в Омске привела к серьезным и важным для тогдашней России контактам А.Янушкевича с казахами Старшего Жуза, часть которых оставалась вне административного подчинения Российской империи. В этом Жузе



довольно часто вспыхивали споры и разногласия между отдельными феодальными правителями, которые в конце концов в 1845 г. выразили желание признать над собой власть Российской империи. В 1846 г. в степь отправилась экспедиция генерала Николая Вишневого, в которую включили А.Янушкевича и еще одного поляка, Виктора Ивашкевича, чтобы подготовить соответствующие акты по этому вопросу. В конце концов 22 августа 1847 г. собравшиеся в урочище Кзыл-Агач правители Старшего Жуза приняли верховенство России. У А.Янушкевича в связи с этим аспектом российско-казахских отношений появились новые обязанности: он должен был часто отправляться в поездки по казахским степям для того, чтобы составлять перепись инвентаря, улаживать споры, принимать жалобы, докладывать о настроениях среди населения и т.п. Его дневник и письма к матери ярко свидетельствуют об этом и представляют собой один из важнейших источников для изучения этой части Казахстана. Описывая жизнь казахов, он сознательно придавал своему дневнику и письмам характер исторического документа. То, что писал А.Янушкевич, сильно отличается от обычных сибирских мемуаров и писем, так как его записи содержат множество этнографических и исторических фактов из жизни казахского народа. Ввиду особой ценности этих записей они были изданы по-русски (1966) и по-казахски (1979).

Адольф Янушкевич был объективным летописцем общественно-политических отношений в казахских аулах. Не случайно поэтому на его мнение ссылаются историки казахского народа, которые сегодня занимаются исследованием отношений, господствовавших когда-то в Большой орде. Например, весьма интересны заметки А.Янушкевича о восстании Кенесары Касымова, который объединил вокруг себя многих казахов и был решительным противником подчинения российской власти. Он нападал на российские посты, “вырезая их поголовно и наводя страх даже на Сибирь”.

Эпистолярное наследие А.Янушкевича содержит множество других сюжетов, связанных с казахской культурой. Особое значение имеет описание структуры социальных отношений внутри местного населения, способствовавшей возникновению различных конфликтных ситуаций между богатыми и бедными. Среди множества интересных сюжетов, связанных с материальной, общественной и духовной культурой казахов, всегда звучит вера автора в то, что придет время, когда “сегодняшний кочевник займет почетное место среди народов, которые сейчас смотрят на него с чувством превосходства”, — так писал он более ста лет тому назад в одном из писем. Он сочувствовал этому народу и верил, что когда-нибудь казахи освободятся от российского гнета и будут самостоятельно определять развитие своей страны; что возродятся их традиционные культурные ценности, оттесненные на обочину навязанными им законами и нормами права, чуждыми их культуре. Поразительным оптимизмом проникнуто его утверждение о том, что казахи добьются автономии, а тогда автономию обретет и культура этого народа. Письма из киргизских степей поражают многообразием наблюдений над культурой не только ввиду ценности и значения самих наблюдений, но и ввиду того, что они противопоставлены серому, затянутому мглой действительно положению культуры этого степного края, которую отвергала и оттесняла русская колонизация.

А.Янушкевич оставил много заметок о жизни казахского общества — как простонародья, так и аристократии, у которой он, как правило, останавливался во время своих поездок по степям. Гостил он и у Кунанбаева, отца знаменитого впоследствии казахского поэта Абая Кунанбаева. Автор дает интересное описание престарелого бая Кунанбаева, сообщая, что он был сыном простого киргиза: “...одаренный от природы здравым смыслом, удивительной памятью и даром красноречия, деятельный, ревностно заботящийся о своих земляках, хорошо разбирающийся в степных законах и предписаниях Корана, знаток всех российских законов относительно киргизов, безусловно объективный судья и примерный мусульманин, плебей Кунанбаев прославился как оракул, к которому идут за советом из самых дальних аулов молодые и старые, бедные и богатые. Завоевав доверие богатого рода Тобуклы, он был возведен в ранг правителя и отправ-

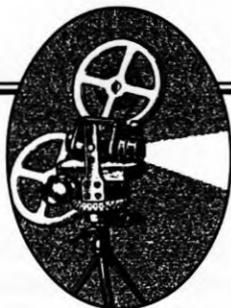


ляет свою власть с редким благородством и энергией, а каждый его приказ, каждое слово выполняются беспрекословно. Когда-то это был красавец, сегодня его лицо изуродовано оспой, которая несколько лет тому назад чуть не вогнала его в гроб”.

Кунанбаев пользовался авторитетом среди казахов. Он выполнял ответственную роль среди степных старейшин, часто встречался с русскими. Не раз он разрешал родовые споры. Он пользовался уважением, был правоверным мусульманином и выполнял религиозные обряды в соответствии с предписаниями Корана. Эти черты характера Кунанбаева А.Янушкевич отмечает много раз, и, следует признать, его мнение совпадает с тем, что сообщают о нем другие казахские и российские источники. Кунанбаев понимал значение образования, поэтому и сыну своему Абая обеспечил учебу в медресе, где тот мог изучить непростую историю ислама и философию восточных мудрецов.

Абай Ибрагим Кунанбаев, один из самых знаменитых казахских поэтов, автор многих поэм и песен, считается классиком казахской поэзии. Он познакомил казахов с произведениями русской классики. Абай был также композитором, и эта сторона его творчества ярко свидетельствует о том, что он воспринимал культурные традиции своего народа. В творчестве поэта переплелись разные элементы постижения родной страны и ее культуры: песни степных акынов, простота бедняков, богатство баев и стремление к свободе. На этом пути А.Кунанбаев неоднократно подтверждал свое звание творца и человека. В его личности сочетались выдающийся поэтический талант и этические ценности, вынесенные им из родного дома, что отмечал и А.Янушкевич в своих письмах, описывая личные достоинства его отца.

То, что до сих пор было сказано о А.Янушкевиче как певце казахских степей, лично знавшем феодала Кунанбаева и оставившем о нем много ценных сведений, необходимо дополнить еще одним польским эпизодом. На сей раз речь пойдет о сыне старого Кунанбаева — А.И.Кунанбаеве. Прошло много лет со времени степных встреч А.Янушкевича с отцом поэта. Судьбе было угодно, чтобы Абай встретился в Семипалатинске с находившимися там в конце XIX в. ссыльными поляками Феликсом Гроссом и Яном Витортом. Последний писал в своей автобиографии, что познакомился с “цивилизованным киргизом, господином Кунанбаевым, который кочевал по степи вместе со своими стадами и семьей; в сентябре, воспользовавшись его приглашением, мы поехали к нему. Дорога пролегла через степь, ибо мы были под защитой рода Кунанбаевых, рода весьма сильного. Эта поездка навсегда останется в моей памяти благодаря оригинальности и необычайности впечатлений, которые мы пережили в степях и гостеприимных шатрах господина Кунанбаева. Мы были очень рады и довольны”. Сегодня мы знаем, что Ф.Гросс, подобно другим ссыльным в Семипалатинске, занимался созданием в этом городе библиотеки и краеведческого музея, которые посещали в то время и некоторые казахи, в том числе и Абай Кунанбаев. По всей вероятности, дружба Ф.Гросса с казахским поэтом была тесной, раз тот пригласил его отдохнуть в свой аул. Стоит добавить, что Ф.Гросс занимался изучением казахских законов и посвятил этой проблеме много внимания. Все это наполняет польско-казахские связи новым содержанием. Однако необходимы более глубокие исследования, которые помогут разгадать еще не одну загадку, а многим фактам, известным в общих чертах, дадут научно документированное подтверждение. Тем для изучения очень много, хотя бы такая: учителем и другом выдающегося казахского ученого Чокана Валиханова был Кароль Гутковский (1815-1867), вице-губернатор Семипалатинского военного округа, преподаватель географии и геодезии в Сибирском кадетском корпусе в Омске. Но это уже тема для другого рассказа.



Валерий Мастеров

ДОМАГАРОВ В БИРНАМСКОМ ЛЕСУ

Краковский театр “Багателя” отметил свое 80-летие весьма необычно — постановкой шекспировского “Макбета” с Александром Домогоаровым в заглавной роли.

История польской сцены начинается с открытия Национального театра в Варшаве 19 ноября 1765 г., который больше известен как Большой театр; под его крышей можно послушать оперу, посмотреть балет и увидеть драму. Такая дата принята официально. Но театральные традиции в Польше насчитывают куда больше столетий, и их корни связаны не с нынешней столицей, а с предыдущей — Краковом. Именно здесь появились первые зрелища, носившие, правда, литургический характер, но вполне соответствовавшие духу театральных представлений. Сохранившаяся рукопись литургической драмы, разыгранной в Вавельском замке, относится к первой половине XIII века.

Сейчас в Кракове несколько театров — драматические, музыкальные, студенческие, студийные и множество любительских сцен. В нескольких шагах от центра города, знаменитых Сукенниц, — театр “Багателя”, уже в само остроумное и легкое название которого был вложен развлекательный смысл. Созданный по инициативе газетного магната, издателя и редактора Мариана Домбровского, за восемь десятков лет он менял свое предназначение, был даже какое-то время кинотеатром, менял названия. В годы наступления социалистического реализма на его сцене ставились “Вас вызывает Таймыр” Александра Галича и Константина Исаева, “Красный галстук” Сергея Михалкова, инсценировались произведения Юрия Германа. На Фестивале советской пьесы в 1949 г. Театр юного зрителя (таким было очередное название “Багатели”) получил первую премию за “Сына полка” Валентина Катаева, а лауреатом среди актеров стал тогдашний вундеркинд, ныне всемирно известный режиссер — Роман Полянский.

Огромным успехом театра стал в 1988 г. спектакль “Высоцкий — со смертью на ты”, с которым возобновленная “Багателя” была приглашена на Театральные встречи в Варшаву. А лучшим представлением следующего сезона стало “Москва—Петушки” Венедикта Ерофеева. Не обойдена стороной и классика: только один из последних примеров — “Месяц в деревне” Ивана Тургенева, постановку которого осуществила известный режиссер Барбара Сасс. Так что русских акцентов в театре на Кармелицкой предостаточно, а хорошая привычка приглашать к участию в спектаклях видных актеров со стороны объясняет появление на его афише имени самого, пожалуй, популярного сегодня в Польше российского актера — Александра Домогоарова. Но объясняет лишь в какой-то мере, ибо случай, можно сказать, особый.





ФЕНОМЕН ДОМОГАРОВА

Актера московского Театра имени Моссовета Александра Домогарова открыл для Польши кинорежиссер Ежи Гофман, пригласивший его на роль Богуна в киноэпопее “Огнем и мечом”.

Как рассказывал мне сам Ежи Гофман, после того как Богуслав Линда окончательно дал знать, что не будет сниматься в картине, начались отчаянные поиски исполнителя одной из главных ролей. Время поджимало, а пробовать было некого. И вдруг, просматривая одну из кассет-визиток, жена и помощница Гофмана Валентина, к великому сожалению не дожившая трех недель до премьеры посвященного ей фильма, воскликнула: “Вот он!” Звонок в Москву, приезд на следующий день Александра в Варшаву, короткий разговор, и... никаких проб. И так было ясно, что нашли того, кого искали.

Теперь говорят и пишут, что роль Богуна как бы создана для Саши. Самое удивительное, пожалуй, в том, что Домогаров стал популярным в Польше еще до того, как фильм вышел на экраны. До того, как его посмотрели семь миллионов (!) зрителей, большим тиражом разошлись видеокассеты и многочисленные издания романа Генриха Сенкевича с иллюстрациями, изображающими даже на обложках Богуна-Домогарова. Сначала он обаял всех в киногруппе. Актриса Изабелла Скорупко, игравшая предмет его страсти, вспоминает, что первое появление на съемочной площадке Домогарова вызвало шок у присутствующих: “Мы застыли и смотрели на него как спятившие”. А уже по окончании съемок Ежи Гофман говорил мне, что Саша — парень что надо: на все горазд, во всем молодец, а прежде всего — открытая и широкая славянская душа. При этом профессионализм даже не обсуждался — это было само собой разумеющимся.

Еще во время съемок “Огнем и мечом” Домогарова пригласила в свой новый фильм “На край света” Магдалена Лазаркевич, которая хотела рассказать на экране о потерянной любви, преступлении и кошмаре одиночества. Действие картины происходит в начале нашего века. Ситуация в кинематографе не новая, но вполне драматическая и интригующая: по следам сосланного в Маньчжурию мужа едут жена с сыном и невесткой, которая из-за отсутствия личного счастья попадает в объятия русского художника. Художника Виктора, эту “злую душу в привлекательном теле”, воплощает Домогаров. Игра москвича на сей раз особого восторга не вызвала, но в вину ему ее не ставили. Все упреки относились к режиссеру, в том числе и по подбору исполнителей. Но это не касалось Домогарова, которому один из критиков даже выразил сочувствие в попытке “разложить его [героя] по полочкам как идеального любовника с полыхающей русской душой”. Это ни в коей мере не отразилось на популярности Александра, согреваемого лучами славы, которые по-прежнему исходят от сыгранного им Бегуна.

“ДУХОВНОСТЬ ЗЛА”

Говорить о верховенстве Шекспира в театральном мире не принято, но то, что пьесы его ставятся в Польше особенно часто, заслуживает внимания. Выбором “Макбета” на свой юбилей дирекция “Багатели” вряд ли кого-то несказанно удивила. Приглашение же на главную роль Александра Домогарова вызвало давно не наблюдавшееся у почтенной публики нетерпение в ожидании премьеры. Мне трудно судить, чем руководствовались авторы идеи неожиданного ангажемента: мои попытки добраться до сути встречали вежливую завесу таинственности. Поэтому приходится делать самостоятельный вывод, хотя он и лежит на поверхности. Макбетом-Домогаровым театр убивал двух зайцев: профессионализм актера сомнению не подлежал, а его популярность заранее обеспечивала аншлаги. Но было бы верхом бестактности оставить за скобками труппу (тем более что она доказала свою дееспособность) и не напомнить о другом приглашенном исполнителе. Актриса Драматического Театра в Варшаве Данута Стэнка в роли Леди Макбет была не только под стать своему главному партнеру, но временами даже вызывала огонь на себя и брала сюжетную нить в свои руки. Это я уже забежал вперед.



В преддверии премьеры режиссер спектакля Вальдемар Смигасевич (его недавняя постановка на этой сцене “Космоса” Витольда Гомбровича подтвердила серьезные намерения театра по отношению к глубокой литературе) на мои расспросы о Домогарове отвечал сдержанно и корректно: хороший актер, увлекательность предстоящей работы почувствовалась при первом же общении с ним. А вот когда я попросил его расшифровать появившуюся в печати скупую информацию о том, что он намерен перенести содержание “Макбета” на современную почву, Смигасевич отвечал более подробно:

— *Даже то, что случилось вчера, мы читаем сквозь призму сегодняшнего дня. Так и в нашем спектакле прошлое преломляется современной игрой и новой интерпретацией. Я пытался внушить актерам, что для них это должна быть история о “духовности зла”, если можно использовать это непривычное для слуха сочетание слов. О таинственности и обаянии преступления, о темных силах, скрываемых до поры до времени в человеке. Чем является часто необъяснимое и неразгаданное зло сегодня? Конкретного ответа как бы и нет, хотя налицо элементы современной войны. Наш Макбет не втянут в ее реалии, но погружен в мир войны — тяготение к власти, череда измен, короткий путь от вражды до убийства. И другая сторона медали — угрызения совести, которые как бы раздирают героя надвое.*

ПАСТЕРНАК ПРОТИВ БАРАНЧАКА

О том, что при работе над ролью Домогаров одержим до болезненности и не подпускает к себе никого извне, известно многим. Я знал, что еще никому он не давал интервью до премьеры, и все-таки поехал в Краков. В театре уже шли прогоны, был канун генеральной репетиции. Обстановка напряженная и взрывоопасная. “Работаем по 14-16 часов в сутки”, — обронил Смигасевич, стараясь хотя бы казаться спокойным. Такое ощущение, что даже воздух, и тот на нервах. Дожидаюсь, притаившись за кулисами. Александр появляется с огромным мечом в руках, сто потов сходят по нему ручьями, с невидящими глазами он стремительно проходит мимо. Догоняю его у дверей гримерной и проскальзываю вслед. На первую просьбу ответить на несколько вопросов — безоговорочное “нет”. Чтобы не стоять над душой, ухожу, но предупреждаю, что вернусь, когда Макбет обретет облик Домогарова. Через полчаса застаю уже пришедшего в себя Сашу, который предлагает встретиться здесь же вечером, за час до генеральной.

В условленное время включаю диктофон.

— *Почему, не испытывая недостатка в работе, вы приняли предложение “Багатели”?*

— В Москве мне Макбета никто не предлагал, а от такой роли не отказываются.

— *Как вам работалось?*

— Очень тяжело. В первый мой приезд в декабре прошлого года мы впервые собрались втроем — Смигасевич, Стэнка и я — только обговорить, что мы хотим сделать. Разбирали пьесу, сокращали. Поначалу думали готовить постановку поэтапно, учитывая мои выезды на спектакли в Москву. Но я понял, что это глупость. Если уж браться за Макбета, то в эту роль надо вбухаться и ни к чему другому не прикасаться. Поэтому я уехал в Москву, разрешил все вопросы и вернулся в Краков.

— *Трения с режиссером возникали?*

— Резкой, пожалуй, была только первая встреча — мы оба готовились к ней, как два мужика, намеренные защищать свою точку зрения. И мы действительно довольно долго разговаривали на повышенных тонах — о пьесе, концепции спектакля, о воплощении образа Макбета... Потом вдруг выясняем, что говорим не об одних и тех же вещах: оказалось, что перевод Станислава Баранчака и перевод Бориса Пастернака — это далеко не одно и то же. И только когда мы по фразам начали разбирать пьесу вместе с переводчиком, то сразу нашли общий язык.



— *Вы не задумывались над природой своей популярности в Польше?*

— Спасибо огромное Гофману. Это произошло благодаря его внимательному отношению к артистам, которых и окружающие начинают воспринимать как подобает. В этом кроется тайна. Но есть еще и другое, зависящее уже от самого артиста. Не афишировать себя “примой”, а жить по правилам человеческого бытия. Можно прийти в театр с одной ролью и доказать свой профессионализм, а в ответ вместо рецензии заслужить репутацию: “Ну артист-то он хороший, а человек — так себе...” Может быть из этого и складывается популярность.

— *У Гофмана сложилось о вас впечатление как о компанейском человеке, но, насколько я знаю, вы сторонитесь больших компаний, вам претят тусовки, официальные банкеты?*

— Во всяком случае стараюсь этого избегать. Я не считаю, что карьера делается в тусовке, как многие сейчас полагают. Карьера делается вон там (рукой показывает на сцену) — выходи на площадку и доказывай. Но, к сожалению, у нас во многих областях успех зависит от пробиваемости, умения найти общий язык с нужным человеком при обильной выпивке. Этому способствуют как раз рестораны, ночные клубы, презентации, одним словом, тусовка. Мне характер не позволяет навязать себя режиссеру или продюсеру. И никогда в жизни я этого делать не буду. А сплошь и рядом видишь, как “дарования” всех мастей с заплетающимся языком чуть ли не вешаются на шею работодателю: “Старый, возьми меня сниматься...” А то и просто берут за плотку и попадают в театр, кино, на эстраду.

— *Судя по многим ролям (“Вперед, гардемарини!”, “Графиня Монсоро”, “Огнем и мечом”, “Макбет”), напрашивается предположение о вашей предрасположенности к героям “плаща и шпаги”. Так ли это?*

— Совсем нет. Как раз сейчас я работаю над совершенно современными картинками. Российские телезрители могли в этом убедиться по сериалу “Бандитский Петербург”, который показало недавно НТВ, а по РТР скоро пойдет уже почти готовый шестисерийный фильм “Марш Турецкого”.

— *“На край света” вызвал в Польше смешанные чувства. Один из критиков даже начал беспокоиться, не будет ли растражирован ваш образ...*

— К этой картине у меня сложное отношение не только потому, что с Магдой Лазаркевич у меня то и дело возникали дискуссии. Мы часто приходили к общему мнению, но когда я недавно посмотрел фильм в готовом виде, то понял, что в некоторых местах сделал бы теперь все по-другому. Но эта картина мне очень дорога.

— *Может быть, потому, что действие происходит в Маньчжурии?*

— Прозрачно намекаете на мою родословную?

— *Хочу услышать невероятную легенду из первых рук.*

— Эта легенда долгое время была семейной тайной. Мой дед, будучи военно-морским офицером высокого звания, во время вспыхнувшей в 1917 г. революции спас жизнь Александру Керенскому: передев в женское платье, он вывел его из Зимнего дворца и вывез в далекую Маньчжурию. Сам вернулся в Россию, но был арестован большевиками и расстрелян. Осталась от деда только бритва в изящном футляре, которой пользовался мой отец. Теперь и я временами ею бреюсь.





РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА ЛЮБВИ

На премьеру “Макбета” в театр “Багателя” пришел “весь Краков” и приехало “пол-Варшавы”. Режиссеры, артисты, публицисты, журналисты, сценографы, критики... Люди театра и те, кто помогает ему теперь выживать в рыночных условиях, — бизнесмены-спонсоры. Ради такого события спустился с гор отдыхавший там Ежи Гофман в окружении чуть ли не всей киногруппы “Огнем и мечом”. Скрывать нечего: все пришли на Домогарова. И сразу его получили.

Макбет, словно вырубленное из скалы изваяние, постепенно проявился на авансцене в зияющей световой расщелине полумрака, который уже не рассеивался до финальной сцены спектакля. Только проступающие из тьмы металлические конструкции в несколько ярусов, напоминающие строительные леса, на которых также разворачивается действие нескольких мизансцен, контрастируют с этим полумраком, олицетворяющим, по всей видимости, зло, алчность и корыстолюбие, охватившие всё происходящее.

Этим заражены главные действующие лица. Макбет Домогарова и Леди Макбет Стэнки не уступают друг другу в выражении своих страстей, следуя заявленному замыслу режиссера показать разрушительную силу любви.

Только если любовь замешана на зле, если один из супругов вообще лишен угрызений совести, а другой еще подвергает себя сомнениям, но потом фактически тоже сдается на милость подминающему под себя злу, разве можно ожидать светлого луча в этом темном царстве преступного мира? Неужели только призраки и духи, время от времени дающие о себе знать, могут отомстить за смерть убитого короля?

На эти вопросы зрителю придется отвечать самому. А это не так легко, потому что задуманное режиссером прочитывается с трудом. Но я ловлю себя на собственном слове: а разве зло, зачастую приобретающее страстное обличье, сразу бывает распознано? Это вам не пьяное пиршество в начале второго действия, когда переворачивается стол, вслед за кружками летят скамьи и всё вроде становится ясно. Кстати, самая, пожалуй, красочная и динамичная сцена спектакля.

Рецензенты не упустили краковского “Макбета”. Но главное внимание критика почему-то уделила польскому языку Александра Домогарова, который старательно, с помощью репетитора, выучил роль, но не всегда, по мнению критиков, понимал смысл произносимых с акцентом фраз. Любопытно, какой же язык одобрили бы господа рецензенты? Язык оригинала? Как принято теперь в оперных спектаклях? Между прочим, одна из серьезных газет без обиняков подчеркивает, что сила внушения и интенсивность бытия на сцене Домогарова так велики, что временами зритель перестает улавливать русский акцент. Данута Стэнка пожелала себе: “Дай мне Боже таких партнеров в театре”. Языковые трудности Домогарова предвидел и Вальдемар Смигасевич, заранее назвав их “техническими приключениями”. Более того, режиссер даже попытался извлечь из этого пользу: “Мы решили, что язык для Макбета — препятствие, которое он все время преодолевает, борясь с самим собой”.

Как бы то ни было, самые важные и заинтересованные друг в друге театральные слагаемые — актер и зритель — не обманулись. Первые пятнадцать спектаклей позади. Для тех, кто хотел, но не успел на краковский “Макбет”, сообщая, что следующие пятнадцать спектаклей — в октябре.

*Валерий МАСТЕРОВ
собственный корреспондент
газеты “Московские новости” в Варшаве —
специально для “Новой Польши”*



Лешек Шаруга

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Все большими кругами расходится дискуссия о состоянии и обязанностях польской интеллигенции после 1989 года. Вслед за статьей Богдана Цивинского в “Плюс-минусе” (еженедельном приложении к газете “Жеч-посполита”), о которой мы уже писали, там же выступил Бронислав Вильдштейн со статьей “Против заповедника” (№19), а в №22 — Здислав Найдер, который в течение нескольких лет после введения военного положения был директором польской службы радио “Свободная Европа”. Найдер стремится показать причины, по которым роль интеллигенции в последние годы явно ослабла. Ссылаясь на предыдущие выступления, он констатирует:

“Богдан Цивинский пишет о “сильной идейной эрозии и глубоком распространении оппортунизма” в кругах интеллигенции в ПНР, но пишет и о поведении “кругов, верных традиционным ценностям”, которые не выступали в печати, не собирали урожая премий, зато “шептали важные вещи”. Так оно и было, только боюсь, что эта верность шепотом была недостаточной для сохранения идейного авторитета интеллигенции как целого слоя, тем более что коммунистические власти не только уловили в свои сети значительную часть интеллигентской верхушки, но и применили в гонениях классовый принцип: рабочие и крестьяне до самого конца подвергались более сильным репрессиям, чем интеллигенты. А ведь оправданием претензий былой интеллигенции на нравственное руководство была именно особая готовность приносить жертвы... Как правильно замечает Вильдштейн, благодаря своему принципу общественной солидарности, а также благодаря тому, что она отошла от профес-

сиональной корпоративности и создала не отраслевую, но региональную организационную структуру, “Солидарность” стала огромным триумфом интеллигентской этики. Однако это был последний ее триумф, а то, что произошло потом, еще ждет своего описания. Почему за прошедшее десятилетие рассыпались остатки слоя интеллигенции? Причин у этого сложного явления немало; позволю себе привести несколько частичных и гипотетических объяснений.

После 1989 г. Речь Посполитая не предложила своим гражданам никакого образа государственности, никакой государственной идеологии, а значит и никакого образа служения. Социальная солидарность стала стыдливым пережитком “профсоюзности”. Новые авторитеты, обычно из рядов интеллигенции, редко подавали пример служения государству и обществу. Проявления высокомерия по отношению к народу, особенно в 1989-1990 гг., оставили устойчивую травму. Вильдштейн справедливо напоминает, что “именно интеллигентская элита, руководствуясь групповой солидарностью, в значительной степени воспрепятствовала расчету с временами коммунизма”. Звучали призывы к самоотречению и терпению, но адресованы они были прежде всего крестьянам и рабочим. Политические вожди возносили торжественные мирские молитвы о возникновении “польского среднего класса”, между тем как большинство общества видело этот “класс” как множество индивидуумов, успешно набивающих карманы. (...) К какому истощению этической культуры приводит культ предприимчивости, не обогащенный примесью “непрактичных” идеалов и сведенный к погоне за прибылью — об этом



можно было узнать еще из романов Бальзака, а в наше время из многочисленных американских романов и кинофильмов”.

Подводя итоги, Найдер пишет: “Возможно ли еще восстановить интеллигенцию как слой вместе с ее традиционной этикой? Думаю, что нет, — и в этом я не согласен с моим другом Богданом Цивинским. К сожалению, нет — и в этом я не согласен с глубоко мною уважаемым за отвагу и идейность Брониславом Вильдштейном. Невозможно по той простой причине, что исчезла специфическая социальная база этого слоя. Однако из этой практической невозможности вовсе не следует, что перестало быть нужным типично интеллигентское бескорыстие, служение, даже самопожертвование. Вильдштейн считает, что “люди исключительные, благородные, готовые жертвовать собой, найдут себе место в любой действительности и любом социальном слое”, но предостерегает от создания “класса благородных”. Мне непонятно, почему люди, сходно мыслящие и руководствующиеся схожими ценностями, не должны формировать определенного круга, не должны давать не только индивидуальный пример (часто воспринимаемый как обычное чудачество), но и групповой? Такие примеры можно видеть и сегодня, и чем дальше от Варшавы, тем чаще. (...) Я не согласен, что эти люди, сознательно опирающиеся на традиции интеллигентской этики, создают опасность формирования вредных “заповедников””.

В несколько ином направлении, нежели поиски на страницах “Плюс-минуса”, идет дискуссия в варшавском журнале “Республика нова”. Беседа в редакции, помещенная в майском, 5-м номере, связана с изменением статуса журнала, который из-за финансовых трудностей перешел в руки концерна еженедельника “Политика”. В этом контексте есть смысл вспомнить историю журнала, выходящего под редакцией Мартина Круля. Он появился под названием “Респуб-

лика” [“Res publica” — по-латыни] в подполье во 2-й половине 70-х. Легализованный при “Солидарности”, приостановленный решением властей после введения военного положения, журнал возобновился легально в середине 80-х, после долгих переговоров с властями, подчинившись, правда, суровым цензурным требованиям, но сохранив независимые взгляды и став одним из важных институтов “серой зоны” между совершенно официальной и совершенно оппозиционной жизнью. При этом настолько важным, что в этом пространстве стал серьезной альтернативой католической печати. Решению об официальном возобновлении журнала сопутствовали бурные споры: редакцию обвиняли в угодничестве перед военной хунтой, слишком далеко заходящих компромиссах и т.п. Но журнал выжил, обрел немалый круг читателей, а после 1989 г. стремился расширить свои организационные структуры, собираясь создать собственное издательство. Все это кончилось финансовым крахом и новой приостановкой издания журнала. После годичного перерыва та же редакция возобновила журнал под названием “Республика нова” [“Res Publica nowa” — “Новая республика”, соединение латыни с польским]. И вот после очередного кризиса журнал перешел в руки “Политики”.

Начиная дискуссию о статусе журнала и всего связанного с ним круга людей, Мартин Круль ставит принципиальные вопросы:

“Почему десять лет спустя мы по-прежнему хотим продолжать предприятие, озаглавленное “Республика нова”? Как мы себя чувствуем, редактируя малотиражный журнал, издателем которого стала “Политика”, и, наконец, как мы вообще себя чувствуем в этой стране? Чтобы оживить дискуссию, позволю себе небольшое преувеличение. Сам я чувствую себя сегодня совершенно не так, как я предполагал десять лет назад. Прежде всего я чувствую себя реши-



тельно лишенным чувства гражданственности. Мое отношение к публичной жизни такое же, как к телевизионному переключателю программ. Сел — раз, раз, раз, — пощелкал, и беру в руки книгу. Чувство это глубоко болезненное, но я с ним смирился. Потому что тот факт, что я действительно чувствую себя лишенным реального, а не формально-го влияния на ход общих дел на любом уровне, имеет для меня и положительное значение. Вот, наконец, я могу отступить на позиции, которые, вероятно, больше всего подходят такому человеку, как я. На позиции наблюдателя публичной жизни — именно того, кто ее наблюдает, а не формирует. Только я не хотел бы быть одиноким наблюдателем. Я всегда был уверен, что слово становится плотью и изменяет мир, а значит, и сейчас считаю, что в публичной жизни надо занимать четкие позиции, не слишком считаясь с последствиями. Ситуацию, в которой “Республику” берет в свои руки “Политика”, я считаю вполне логичной, ибо при этом я могу и дальше оставаться на позициях наблюдателя, который считает нужным публично высказывать свои критические замечания, отдавая себе отчет в том, что от этого, возможно, не будет никаких результатов. Однако я глубоко убежден, что люди умны, хороши и хотят перемен к лучшему. Если бы я исходил из другой посылки, вся моя деятельность потеряла бы смысл. Таким образом, я предполагаю, что я не воспитатель в исправительном учреждении для малолеток, а учитель, который дает материал очень способным детям в очень хорошей школе. Никакой дидактики!”

Продолжая разговор, Павел Спекв задумывается над тем, существует ли “общность взаимопонимания людей, которые хотят знать, что происходит”:

“И является ли общность людей, благодаря которым “Республика” вообще продолжает существовать, общностью интеллигентского слоя? За последние десять лет много

раз говорилось — да я и сам так думал, — что эта группа утратила смысл своего существования и будет вытеснена теми или иными профессионалами. Однако эта группа, которая неустанно подвергается нападкам и правых кругов, и Церкви, а частично и нападкам из собственных рядов, выжила. Выжила как группа, объединенная определенной этикой, обладающая чувством исторической непрерывности и ведущая те или иные споры. Мы должны сохранить этику этой группы, отдающей себе отчет как в своем историческом, так и в своем маргинальном характере. Она знает, что она — лишь одна, и отнюдь не привилегированная, из групп в клубке общественных связей. Зато она испытывает готовность и потребность критически воспринимать и истолковывать то, что происходит в Польше”.

Дальше заходит в споре Марек Залеский, по мнению которого оставаться наблюдателем недостаточно:

“Позиция наблюдателя? Учителя? Не ставит ли это нас в позу вечных рецензентов, не побуждает ли отдать политическое пространство, которое в Польше обратилось в руины, политикам? Они превратили республиканскую демократию в демократию партийную. Может быть, мы должны помочь отвоевать утраченное политическое пространство”.

Эти рассуждения подхватывает Яцек Круляк: “В ПНР у “нас” были ценности, а у “них” — правила. И вот та группа, которая восстанавливала ценности, начала вырабатывать правила. Мартин Круль говорит, что люди хороши. Между тем ни одна политическая партия в Польше не говорит мне, что я хороший. Они говорят, что я бедный, что я должен стать богаче и они мне это обеспечат, — или что я свинья, и тогда они вводят для меня закон о запрете порнографии. Человеческая мысль, позволю себе сказать, опасно скатывается на уровень правил”.



Отвечая на все эти сомнения, Круль подчеркивает: “Ни одна партия не говорит тебе, что ты хороший, а “Республика” это может. Ибо, как я сказал, мы решительно исходим из того, что люди хороши, что они хотят стать лучше и хотят участвовать в публичной жизни, но сегодня лишены этой возможности. Это не значит, что мы хотим участвовать в политической жизни. Нет, не хотим. (...) И теперь наше направление — не к политикам, а к людям. Надо доверять механизмам демократии — сам я, правда, в немалой мере утратил иллюзорные мечтания, но если мы утратим их полностью, то придется признать, что какие-то формы аристократизма гораздо приятнее. По правде говоря, я предпочел бы жить в аристократические времена, но они уже не вернутся”.

Следует, однако, осознать, что своеобразный аристократизм или, точнее, элитаризм интеллигенции, продолжающей искать своего места в публичной жизни, не только неизбежен, но, пожалуй, и желателен. Так, кстати, видит это Виктор Осятынский, профессор права в Чикагском университете, в интервью журналу “Одра” (№5). Анализируя перемены современной жизни, говоря о проблемах глобализации и показывая их связь с вопросами самосознания отдельных народов и социальных групп, он говорит:

“Думаю, что будет существовать элитарная культура разных народов и обществ — настолько, насколько ее творцы захотят выразить себя и вступить в общение с другими, и ровно настолько, насколько государства — с помощью академий, университетов, различных учреждений — помогут этим творцам существовать. (...) В моем поколении — а умственно я возрастал примерно в середине века — в Центральной и Восточной Европе или, может быть, просто в Европе существовало понятие “культурный человек” (и такие люди были). Обычно он имел высшее образование, ходил на концерты, в театр, на выставки, читал книги и обо всем

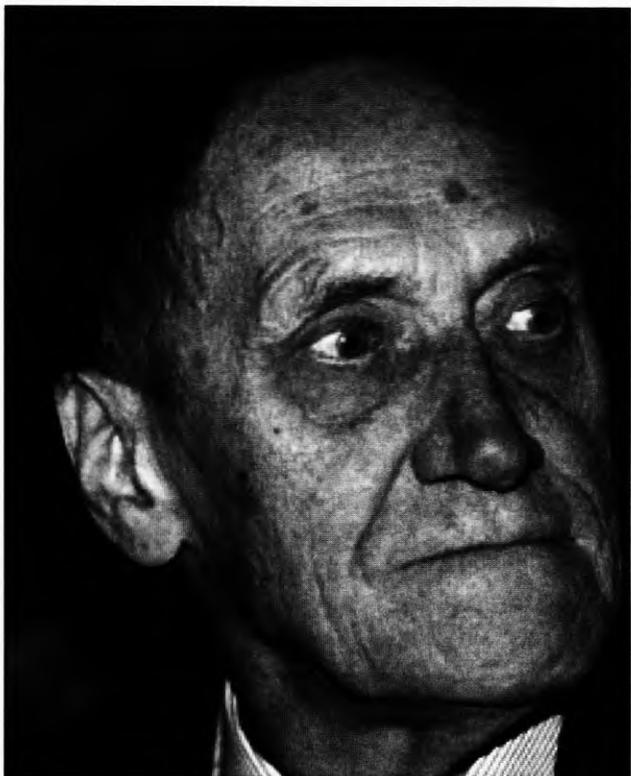
этом разговаривал. Он чувствовал, что может свободно передвигаться по всему пространству культуры, и знал ее историю. В свое первое пребывание в Америке, в 1975 г., я обнаружил, что там нет такого слоя людей. (...) В Америке человек разбирается в живописи и читает книги о живописи, но не ходит на концерты или в театр — по крайней мере не часто. (...) Я замечаю, что у нас культура тоже начинает специализироваться: в филармонии встречаешь скорее меломанов, чем “культурных людей”. Мне это явление не нравится. (...) Когда-то академические и создающие культуру круги обладали и хотели обладать “властью над душами”. Потом уже не хотели, но обладали общественным авторитетом. Еще позже — “авторитетом оппозиции”, т.е. тех, кто создает мнения и, скажем так, стандарты. В этих кругах и в Церкви выжила независимость от коммунизма. Теперь свободные — поработенные деньгами и политиками — средства массовой информации совершенно изгладили из общественного сознания какой бы то ни было иной авторитет. По любому вопросу кто-нибудь выходит на публику и говорит не потому, что знает, о чем говорит, а потому, например, что у него депутатский мандат. (...) Механизм, позволяющий созидать неполитические авторитеты, — вот то, чего нам весьма недостает”.

Этот механизм, по-видимому, могут создать именно элитарные круги, независимые, но в то же время не раздираемые идеологической принадлежностью, партийным прислуживанием. Польская интеллигенция, выслуживающаяся перед разными партиями и группировками (о чем писал еще в 20-е годы Стефан Жеромский), оказывающаяся у них на посылках, сама потеряла не только ощущение общности своих интересов, не только корпоративную солидарность но часто и представление о здравом разуме. Требование ее деполитизации раздается все чаще.



ЧТО УГОДНО МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ДУБИНУ

Бронислав Вильдштейн беседует с Лешек Колаковским



Лешек Колаковский — философ, опубликовал более тридцати книг, многочисленные эссе и т.д. Автор книг "Остовные течения марксизма. Возникновение, развитие, распад", "Может ли дьявол быть спасен", "Бог ничего нам не должен" и мн. др. Профессор Оксфордского университета

Бронислав Вильдштейн — писатель, журналист. Автор трех романов: "Как вода" (премия Фонда Костельских), "Брат", "Об измене и смерти". Деятель оппозиции 70-80-х годов. Провел восемь лет в Париже, был главным редактором ежемесячника "Контакт", корреспондентом радио "Свободная Европа". По возвращении в Польшу работал главным редактором "Радио Краков", секретарем редакции газеты "Жиче Варшавы", заместителем главного редактора "Жиче". В настоящее время независимый публицист.

— В своем тексте *"Падение коммунизма как философская проблема"* вы выдвигаете тезис о том, что вопреки ожиданиям поражение коммунизма не привело к всеобщему оптимизму, распространению либерально-демократических идей и построению универсальной цивилизации с опорой на свободы и права человека. Совсем наоборот: крушение коммунизма, по вашему мнению, — это в сфере идей всеобщая утрата ориентиров, время замешательства и хаоса...

— Я не писал, что крах коммунизма не содействовал распространению либеральных идей. Я писал, что политический пейзаж во времена Советского Союза и коммунистического блока казался относительно ясным. Понятно было деление на тоталитаризм и демократию, все проблемы можно было соотнести с этим фундаментальным противопоставлением. Когда рухнул коммунистический блок, простые точки отсчета и ориентации исчезли. Что не означает, будто стало хуже. Разумеется, лучше, что коммунизм рухнул. Однако в нас поселилось чувство тревоги, которое, по-моему, весьма распространено: это тревога за дальнейшую судьбу цивилизации. Тревожит все. Конечно, я не знаю, что именно произойдет. Однако чрезмерного оптимизма не испытываю.



— Вы многократно, в том числе в “Основных течениях марксизма”, писали, что коммунизм есть следствие определенных тенденций европейской мысли. Что он есть попытка примирить противоречия человеческого существования, противоречия бытия вообще. Попытка достигнуть совершенства здесь и теперь. Многие историки идей считают коммунизм очередным воплощением гностической тоски, которая, условно говоря, состоит в том, что существующий мир отвергается во имя спасения человека уже в земной жизни, во имя достижения рая на земле. В таком случае можем ли мы полагать, что коль скоро коммунизм был воплощением универсальной тоски, то после его падения эта тоска найдет иную форму реализации? Какова, по-вашему, может быть эта форма?

— Я не опасаюсь, что коммунизм может вернуться в том виде, в каком он существовал в идеологии и практике большевиков. В этой форме он окончательно выдохся. Большевистский, ленинско-сталинский коммунизм, независимо от намерений, стал идейной базой Четвертого Рима. Он явился очередной, причем карикатурной, попыткой превратить Москву в центр духовного преобразования мира. Это уже не вернется. Большевизм умер, хотя в Латинской Америке еще существуют партии и повстанческие движения, опирающиеся на эту идеологию. Об Азии я сейчас не говорю.

Я убежден, что группы, опирающиеся на большевистскую идеологию, уже не могут прийти к власти. Такая партия еще есть во Франции — благодаря своему историческому прошлому она может какое-то, хотя уже недолгое, время иметь некоторый вес. Перспективы у этой партии были лучше, чем у так называемых еврокоммунистических партий. Она до конца была партией сталинистов и, со своей точки зрения, вела себя разумно. Правда, это ограничивало ее популярность, не могло быть и речи о том, чтоб она вернула себе те двадцать с лишним процентов голосов, которые постоянно имела после войны, но, с точки зрения ее вождей, проблема была не в этом. Это были настоящие коммунисты, желавшие тотальной власти, а не каких-то двух незначительных министерств в правительстве социалистов. Между тем существовал единственный рецепт тотальной власти: война и оккупация Франции Советским Союзом. В таких условиях не нужна особая численность рядов. Важна дисциплина. Чтоб организовать концлагеря и карательные подразделения, людей хватит. Шансы на такое решение в послесталинском мире были невелики, но и не равнялись нулю. С сегодняшней перспективы ясно, что такой расчет был абсурден; однако заранее предвидеть это было невозможно. Зато еврокоммунистические партии размыли свою идеологию, а вместе с ней — и свою силу. Ведь сила идеологии была важнее, чем все экономические поражения советской системы.

Экономическая неэффективность советской системы была производной от ее основ и сопутствовала ей изначально, однако не обязательно вела к катастрофе системы. Порожденная ею нищета населения вовсе не обязательно порождала революцию — она могла длиться неограниченно долго. Зато невероятно важна была смерть идеологии: без идеологии эта система умирает. Агония тянулась долго, и вдруг оказалось, что в сфере чувств и разума больше нет инструментов, которыми коммунизм мог бы оперировать.

И тут появился Горбачев, который решил модернизировать систему, а для этого оказалось необходимым в известной степени допустить свободу информации. Это был конец системы, которую Горбачев намеревался чинить, а в результате уничтожил. Разумеется, он был не один, но он был важнейшим лицом среди тех, кто непреднамеренно вызвал паде-



ние коммунизма. Непреднамеренно — поскольку план его состоял не в этом. Таким образом, большевизм не вернется, хотя и могут появиться иные формы тоталитаризма.

Во-первых, это кажется невозможным по техническим причинам. Одним из оснований коммунизма была абсолютная монополия на информацию и связь. Сегодня это немыслимо, поскольку инструменты информации и связи чрезвычайно рассеяны. Когда нет трудностей с доступом к телефону, позволяющему людям общаться на любом расстоянии, когда повсеместно распространены спутниковые антенны, дающие возможность принимать радио и телевидение со всего мира, такая монополия невозможна. Кое-где, как, например, в Северной Корее или Афганистане, можно пытаться ее осуществить, однако нельзя распространить такую систему на крупные территории земного шара. Поэтому тоталитаризм в традиционной форме вернуться не может.

Тем не менее появляются как идейные, так и социальные силы, которые не позволяют нам спать спокойно. Вы упомянули об утопическом сознании. Нет причин, чтобы оно угасло, поскольку это часть умственной жизни людей. Я много писал об этом. Основной элемент утопического сознания — попытка создать технику, при помощи которой будет достигнуто всеобщее братство людей. Вера в такую технику уже открывает путь к рабству, ибо только всеобщим порабощением можно достичь видимости такого братства. Возможно добровольное объединение небольших групп на основе идеи братства. Так может обстоять дело в монастыре, так было когда-то (теперь, пожалуй, уже не так) в израильских кибуцах. Однако идея институционального братства в крупных масштабах — путь к тоталитарным порядкам. Несмотря на это, утопическое сознание, отчаянная вера в то, что можно установить неколебимую братскую общность людей при помощи технических средств, никогда не иссякнет. Эта вера может подсказывать самые разнообразные идеи и технические решения.

Мы все сейчас ломаем голову над современным феноменом, состоящим в том, что происходит так называемая глобализация при одновременной вспышке всех видов национализма, вплоть до племенных. Пожалуй, это указывает на очевидную для здравого смысла истину: людям нужна культурная ниша, где они чувствуют себя дома, и у них есть причины опасаться, что так называемая глобализация уничтожит такие ниши. Ни один вид национализма не проявляет тенденции к исчезновению и в любой момент может привести к событиям, подобным тому, что мы могли наблюдать в бывшей Югославии.

Нам кажется, что в Европе, за исключением ее окраин, таких, как Балканы, это совершенно невозможно. Однако не будем так уверены. Пока Европа относительно зажиточна, такие вещи, наверное, немыслимы, но если произойдет экономическая катастрофа, а она находится в пределах вероятности, то все может повернуть в самую худшую сторону и весь процесс объединения Европы пойдет насмарку. Иммиграция в Европу остается и будет оставаться проблемой, и не следует делать вид, будто такой проблемы нет, ибо права человека якобы велят нам ее не замечать. Эта проблема существует и может привести к серьезным осложнениям.

Кстати, в относительно благополучных странах всегда есть часть общества, которая к обществу как бы и не принадлежит. Это те, кого называют “отверженными” или “обездоленными”. С голода они не умирают. На Западе сегодня уже никто не умирает с голода. Тем не менее это целый класс людей нетрудоустраиваемых — не временно безработных, а



именно нетрудоустраиваемых. Нам не известно, к каким последствиям это может привести, но мы знаем, что социальное неравенство имеет тенденцию не к уменьшению, а к нарастанию. Между тем зависть — одно из самых сильных, импульсивных и разрушительных чувств. Оно может привести к взрыву, как уже много раз случалось в истории.

Обнаруживаются демографические проблемы, которые непонятно как решать. Возникают экологические трудности, иссякают природные ресурсы, что может вызвать необходимость самоограничения человечества, и пусть даже эти ограничения будут мягкими, они будут восприниматься, поскольку мы склонны к этому, как несчастье. Одним словом, есть много обстоятельств, которые непредсказуемым образом накладываются одно на другое, и нет уверенности, что эти обстоятельства не заложат основы новой формы тоталитаризма, хотя и без всеобъемлющей идеологии большевистского типа. Быть может, оттого нас и гнетет тревога.

— Вы говорили о том, что угрожает западному либерально-демократическому укладу. Однако от этого еще далеко до создания тоталитарного строя. Националистические импульсы на нашем континенте могут затруднить, даже сделать невозможным процесс интеграции Европы, но сами по себе они еще не составляют фундамента ни для тоталитарной, ни даже для авторитарной системы. Они не создают ни антидемократических, ни антилиберальных моделей...

— Пока что нет. Правда, появляются группы, которые с этой точки зрения небезопасны: такие, как “Национальный фронт” во Франции, республиканцы в Германии или Партия свободы Йорга Хайдера в Австрии. Ими не следует пренебрегать, так как при благоприятных обстоятельствах они могут действительно обрести силу. Пока они кажутся маргинальными, но наша бдительность в этом вопросе должна быть обострена. Я не утверждаю, что завтра мы можем стать жертвами какого-нибудь нового тоталитаризма, нацизма или чего-то подобного. Нет оснований так думать, но нет и повода полагать, что это абсолютно невозможно, потому что, дескать, почти все ратуют за демократию.

— Угроза, которую несут с собой перечисленные вами крайне правые европейские партии, — это угроза популистско-авторитарной модели. Считаете ли вы, что такая модель осуществима в современной Европе?

— Да. Я не утверждаю, что именно так случится, но, думаю, такая вероятность существует. Мир в процессе глобализации кажется нам настолько безопаснее, что мы полагаем, будто он устраняет источники войн. Но это отнюдь не так. Глобализация не обязательно означает умственную, духовную, культурную унификацию, однако она бросает в один котел самые разные силы, и их взаимодействие непредсказуемо. Легкость связи, передачи информации и перекачки капиталов, а также доступность путешествий создают основу не только для объединения человечества. Одновременно получают возможность пробиться в мир самые разные силы, в том числе разрушительные. Человеческие интересы по природе своей, а не по какой-то случайности противостоят друг другу. Так оно должно быть, и так будет всегда. Противостояние часто и неожиданно принимает взрывные формы. Я не говорю: давайте сидеть и ждать катастрофы. Я говорю: надо внимательно смотреть вокруг и быть бдительными.



— *Вы указываете на опасности, которые, если использовать традиционную терминологию, грозят с правой стороны политической сцены. Значит ли это, что вместе с падением коммунизма левые утратили свой опасный утопический потенциал? Или традиционное деление на левых и правых уже потеряло смысл?*

— Я уже не знаю, что слева, а что справа. Не знаю, и, по правде говоря, это меня мало интересует. Конечно, существуют какие-то традиционные деления, но их идеологическое наполнение уже не важно. Перед I Мировой войной было ясно, что такое левые и что такое правые. Европейские левые хотели добиться демократических институтов, всеобщих выборов, всеобщего обязательного образования, светского государства и религиозных свобод, общественного здравоохранения и тому подобных реформ, которые со временем так или иначе все были введены. А правые — это были шовинисты, милитаристы, колониалисты, люди с авторитарными наклонностями. Это было видно во время крупных идейных столкновений, вроде дела Дрейфуса.

После I Мировой войны все смешалось. Возник коммунизм, который в карикатурной форме осуществлял левые идеи, будучи при этом наихудшим деспотизмом: все прекрасные старые лозунги левых воплотились в кошмар. С тех пор с этим делением на левое и правое все было уже не так, как прежде. И так до наших дней, в том числе и в Польше. Правда, и здесь говорят: “левые”, “правые”, — но где левая и правая идеология? Среди тех, кто в сегодняшней Польше самоопределяется как правые, больше всего желающих усилить государственный интервенционизм, то есть провести левый, социалистический принцип. ПСЛ, крестьянская партия, — что это, правые или левые? Правые — ибо утверждают, что очень набожны, но в то же время они желают, чтобы государство обеспечивало крестьян всем: устанавливало цены — разумеется, высокие, вводило охранные пошлины, то есть использовало средства из социалистического, даже коммунистического арсенала. То, что за это должен платить кто-то другой, их не волнует. Я не хочу отрицать, что перед польским крестьянством стоят реальные проблемы, но критерии деления на левое и правое тут стерты.

— *Можно сказать, что в идейном плане и нынешние левые, и нынешние правые хотят повысить роль государства, но с разными целями. Левые хотят усилить перераспределение, чтобы уменьшить социальные различия и поднять жизненный уровень тех “отверженных”, которых будто бы можно административными методами вновь интегрировать в общество. Правые хотят усилить роль государства ради контроля за тем, что, по их мнению, является антиобщественной деятельностью, и ради укрепления национальной сплоченности общества. При этом уменьшается число классических либералов, желавших ограничить роль государства и предоставить личности максимум инициативы. Возможно, эти факты указывают на направление политической эволюции?*

— Очевидно, да. Пожалуй, вы правы. Радикальный либерализм, для которого роль государства ограничивается обеспечением порядка, то есть содержанием полиции и органов правосудия, и который ставит под вопрос все прочие формы активности государства, включая содержание армии и монополию на печатание денег, — такой крайний либерализм, своим радикализмом доводящий либеральные идеи до абсурда, шансов сегодня не имеет. А вот где место либерализма — слева или справа, этого я тоже не знаю.



— Однако традиционное деление на левых и правых, как бы ни истощился смысл этих слов, все-таки функционирует, ибо люди так себя определяют, и это само по себе составляет некую общественную реальность.

— Да, разумеется.

— Следовательно, в очень грубом упрощении можно попытаться описать политическую сцену, определив два цивилизационных полюса, между которыми она локализована. Первый полюс — это некоторая крайняя точка либерализма, современная форма крайнего релятивизма, каковой является постмодернизм. Второй полюс — это (в качестве ответа на первый) различные формы фундаментализма, попытка строить социальные институты с опорой на “прочные” ценности. Приемлемо ли для вас такое описание?

— Полярности существуют, но в крайней форме они не так важны для описания нашего образа мыслей. Говоря о фундаментализме, мы имеем в виду прежде всего религиозные идеи и институты. Об исламе я не говорю: известно, что такое исламский фундаментализм и как он проявляется. Существует также опасный еврейский фундаментализм. Но я говорю о христианстве. Фундаментализм в христианстве существует, но не думаю, что даже в такой стране, как Польша, где влияние Церкви огромно, он мог бы победить. Фундаментализм в том смысле, что специфически католические идеи насильственно навязывались бы государством. Однако существует полутеоократическое фундаменталистское течение, которое хотело бы нам Господа Бога, исповедь, католический брак и прочие религиозные институты преподнести с помощью государственного принуждения. Что же касается крайнего либерализма в области культуры, не знаю, имеет ли он какое-то политическое соответствие, особенно в классической системе противопоставления левого и правого.

— Речь идет о постмодернизме, который подвергает сомнению классические категории, при помощи которых люди пытаются постигать мир. Категории истины, добра и красоты. Это релятивизм, отвергающий возможность построения более или менее связанной системы ценностей. То, что предлагает постмодернизм, достаточно элитарно, особенно если почитать его теоретиков, однако оказывается, что в упрощенной форме те же представления функционируют в массовой культуре. Впрочем, быть может, существует диалектическое соотношение между состоянием нынешней культуры и идеологией постмодернизма. Во всяком случае, постмодернизм стал каким-то знаменем нашего времени. Постмодернисты мало занимаются политикой, но постоянно выискивают элементы той культуры, которую они определяют как “репрессивную”, и стремятся нас от нее “освободить”. Вдобавок они обычно называют себя левыми. Кстати, если из всех ценностей у них остается некая неопределенная солидарность как род “сочувствования” (по Ричарду Рорти), то из этого тоже можно вывести концепцию далеко идущего государственного вмешательства. Тем более что главный объект внимания постмодернистов — группы, для которых нет места на главном направлении культуры и которые якобы надлежит особенно защищать. Я полагаю, постмодернизм — это проявление того, что вы лет двадцать назад назвали “самоотравлением открытого общества”. И, может быть, фундаментализм следует признать отчаянной, крайней реакцией на такое положение вещей.



— Я не знаю, что такое постмодернизм, потому что каждый может определять это для себя как хочет. Когда-то я определял постмодернизм так: “все дозволено”. Такой полный интеллектуальный и нравственный анархизм, конечно, опасен. И это не просто затея нескольких американских и французских профессоров, но, как вы уже отметили, достояние массовой культуры. Такие взгляды внедряются в общее сознание. Мол, собственно, почему это мы должны считать, что добро и зло реально существуют? Однако добро и зло — постоянные черты мира людей, а не что-то придуманное нами в зависимости от нашей фантазии и сиюминутных нужд.

Слово “фундаментализм” мы употребляем в пейоративном смысле. Однако, как обычно в такого рода интеллектуальных войнах, мы вписываем в этот термин самые разные вещи, в том числе и те, которые я не считал бы дурными, а напротив, полагал бы относящимися к условиям человеческого существования. Например, уверенность в том, что действительно существует нечто такое, как добро и зло, и что есть критерии их различения. Если мы это забудем или сочтем старым предрассудком, о котором нечего и говорить, нам грозит распад общества. И не такая уж это нереальная вещь. Случается, что это важнейшее качество человеческого мира, веру в добро и зло, защищают по-варварски. Так поступают всевозможные религиозные фанатики.

Увы, нет ни одной идеи, которая не могла бы стать инструментом варварства. Это касается как правых, так и левых идей. Что угодно можно превратить в дубину. В жуткую дубину превращены прекрасные, заслуживающие поддержки идеи раннего социализма, которые действительно были мотивированы потребностью нести помощь эксплуатируемым, угнетенным, беспомощным людям. С другой стороны, жуткую дубину сотворили из Евангелия. Застраховаться невозможно. В дубину можно превратить всё. Так что мы должны иметь инструменты сдерживания наших лучших идей, чтобы их невозможно было перековать в орудия, направленные против человека. Конечно, всякий нигилизм будет подогревать фундаментализм и наоборот. Экстремизмы взаимно кормятся самой своей враждебностью друг другу.

— Вы часто писали о том, что человеческие ценности вырастают на почве религии. Этому вы посвятили изданную уже почти двадцать лет назад книгу “Если Бога нет...”. Там говорилось, что, когда засыхает живое древо религиозных верований, начинаются проблемы с этической системой общества. Сегодня подобным образом анализируют кризис современного общества, например, сторонники коммуитаризма, которые требуют возврата к “прочным” ценностям. Как вы полагаете, возможен ли возврат?

— Этого не сделать искусственно. Коммуитаризм, как я его себе представляю, — это попросту великий плач. Причитание о том, что традиционные человеческие связи ослабевают и распадаются. Плач этот понятен и обоснован. Однако ошибочно утверждение или предположение, будто мы знаем — или хоть кто-то знает, — как повернуть процесс вспять. Ошибка — делать вид, будто существуют некие технические средства восстановления связи между людьми. Это опять проявление утопического сознания, о котором мы говорили, попытка институционализации братства.

Невозможно искусственно вернуть и религиозную веру, хотя можно сделать это насильно. Если бы был насильственно установлен теократический порядок, первое поколение вос-



принимало бы его как принуждение и беду, но следующие могут уже с этим примириться. Сколько уж раз в истории религия успешно навязывалась мечом. Однако это не то, чего бы я хотел. Поэтому, если бы кто-то спросил у меня совета, я вынужден был бы ответить: ничего посоветовать не могу, кроме одного — надеяться, что цивилизации как-нибудь сумеют о себе позаботиться. То есть выработают антитела, предотвращающие распад человеческой общности.

— Последнее время множится критика либеральной демократии. Иногда она в интеллектуальном смысле весьма радикальна, как, скажем, тезисы американского философа Аласдера Макинтайра, который возвращается к Аристотелю, чтобы подвергнуть критике нашу концепцию этики как отдельной дисциплины. По его мнению, этику невозможно вывести из социальной действительности и, собственно, ничего такого, как индивидуальная нравственность, не существует. До сих пор вы говорили о фундаментализме исключительно в религиозном контексте. Но ведь о нем можно говорить и в контексте национальном. Быть может, такого рода критика создает почву для национализма, а вдруг она — симптом каких-то явлений, которые в силах изменить нашу действительность?

— Быть может. Однако в идее, которую можно передать цитатой из Маяковского: “единица — вздор, единица — ноль”, — нет ничего нового, и последствия ее мы уже основательно проходили. Национализму всех толков, правда, нужны идеологии, но не нужны мыслители. Национализм — идеология легкая, простая, она обходится без сложных интеллектуальных конструкций. Так что национализм будет нам сопутствовать, будет возникать и развиваться без особого участия класса мыслителей. Племенное сознание — естественная форма коллективной жизни. Его невозможно устранить, но мы не должны считать его злом в фундаментальном смысле. Это сознание нужно людям, хотя, как и все прочее, оно может вырождаться в варварство. Так и религия — как и антирелигия — может стать орудием варварства. Идея нации может привести к этому точно так же, как и идея космополитизма. Примеров предостаточно.

— Не считаете ли вы, что в последнее время идет процесс возрождения религии? Социологи, например Питер Бергер, отмечают такой феномен в глобальном масштабе. Ширится мнение, что оказались совершенно беспочвенны и тезис Макса Вебера о выпадении религии из сферы публичного интереса, и более радикальные суждения рубежа веков, говорящие о смерти религии.

— Я тоже так думаю. История XX века опровергла представление рационалистов XIX-го о том, что религия — это пережиток, который скоро будет упразднен наукой и общественным прогрессом. Значительное ослабление религиозности произошло в Западной Европе, но, скажем, уж никак не в Северной Америке. Мы не можем оценивать эти явления, опираясь на взгляды университетских профессоров: их атеизм — это статья особая. Соединенные Штаты — страна религиозная (хоть и разорванная между множеством разных групп и сект), но при этом она наиболее развита в научном и техническом отношении, а отделение религии от государства соблюдается там непреложно.

Все эти факторы не вызвали упадка религии. Да, наблюдается религиозный ренессанс, хоть и не обязательно в церковной форме. Он заметен в разных частях земного шара — не следует относиться к Западной Европе как к репрезентативному образцу мира. С некоторых пор социологи это подчеркивают. В течение нескольких десятков лет наблюдался про-



цесс ослабления религии, и, как всегда, временную тенденцию стали расценивать как закон природы, вообразив, что так будет всегда. Но так вовсе не должно быть. В истории можно наблюдать периоды ослабления и роста религиозных чувств, периоды фанатизма и терпимости. Все уже было. Полагаю, что религия — стойкая составная часть человеческого бытия; это не значит, будто каждый человек в отдельности религиозен, но это реальность, имеющая антропологические корни, а не случайный продукт исторических или биологических обстоятельств.

Все теории возникновения религии спекулятивны и мало чего стоят. Я не верю в угасание религиозной веры, так же, как не верю в то, что религия — главный источник варварства, ибо есть достаточное число доводов против этого.

— *Верите ли вы в то, что произойдет масштабное возрождение религии?*

— Да. Христианские Церкви могут переживать трудности и отмечать отход людей от религии, в том числе и в Польше, где наряду с интеллигентским есть и народный антиклерикализм. Все Церкви испытывают большие трудности с поисками языка, который был бы понятен людям. Сохраняются традиционные конфликты, с которыми Церкви не умеют справляться. Некоторые из них постепенно уходят — к примеру, классический конфликт между наукой и религией. Уверенность в том, что наука — естественный враг религии, можно обосновать исторически, но по сути это не верно. Сегодня множество людей борется за устранение этого конфликта.

Традиционные Церкви переживают трудности, зато динамично развиваются так называемые харизматические группы и секты, возникающие в основном в США, но активно укореняющиеся и в Европе. В своей университетской работе, главным образом в Америке, я замечал, что множество хорошо образованных молодых людей, студентов, в том числе тех, кто не был воспитан в религиозных традициях, испытывает живую потребность вернуться к религии, хотя вовсе не обязательно к Церкви. Для будущности христианства имеет принципиальное значение, чтобы Церкви научились говорить с молодыми образованными людьми.

Не на пользу христианству, когда Церковь опирается на темных, полуграмотных прихожан, на деревенские традиции, которые когда-нибудь исчезнут и в Польше, как уже исчезли в других странах. Невозможно рассчитывать на то, что эта среда возродит христианство. Христианский фундаментализм, который выражается в попытках вернуться в эпоху Пия X (я нахожу, что это тенденция маргинальная), группировка лефевристов — все это противодействует возрождению христианства. Пий X и Церковь его эпохи, с их резкими нападками на модернизм, глубоким рвом разделили Церковь и европейскую, особенно французскую, интеллигенцию. Продолжение этой традиции, бесспорно, губительно и для христианства, и для Церкви.

Однако не это кажется мне имеющим наибольшее значение. Самая большая проблема — неумение найти язык, чтобы говорить с образованными молодыми людьми. Если процесс этот будет углубляться, мы можем стать свидетелями массового отхода людей от Церкви и христианства и вовлечения их в иные формы религиозной жизни, уже существующие или новые. Однако тут трудно что-либо предугадать: предвидение — это лишь превращение тенденций, которые делятся от силы несколько десятилетий, в законы истории.



К примеру, всякий должен признать, что нынешний римский понтификат — это нечто необычайное. Я не говорю о Польше — в Польше есть особые причины, по которым Иоанна Павла II особенно любят. Однако я был в самом деле потрясен, когда увидел Папу произносящим речь на Марсовом Поле, где собралось около миллиона людей, в огромном большинстве молодых. И это в Париже, который с XVII века повсеместно славится столицей безбожия. О чем-то это говорит. О чем? Пока не знаю. Очевидно, о том, что потребность контакта с религиозными традициями не угасла и, думаю, не угаснет, хотя могут меняться ее формы.

— Звучат мнения, что Иоанн Павел II примирил концепцию II Ватиканского собора с церковными традициями и тем самым предотвратил размывание католической Церкви, подобно тому, как размывались протестантские Церкви, которые постепенно исчезают.

— Насколько я знаю, в скандинавских странах протестантские Церкви — это органы записи актов гражданского состояния. Они занимаются регистрацией рождений, браков и смертей. С сегодняшней перспективы ясно, что II Ватиканский собор был неизбежным актом оздоровления Церкви. Естественно, это было потрясение, потому он и пробудил враждебную реакцию внутри самой Церкви. Однако собор направил Церковь в новую колею, и это оказалось спасительным. В то же время он вызвал крайние реакции. С одной стороны, фундаменталистские тенденции, возврат к уже изжитым, реакционным формам, с другой — тенденции к секуляризации Церкви, то есть к ее уничтожению путем сведения к социальным и политическим формам. Я своими глазами видел, как некоторые священники пытались свести Церковь к роли проводника политических интересов (неважно — злых или добрых).

Понтификат Иоанна Павла II предотвратил обе опасности. Поэтому понятно, что на него нападают с двух сторон. Фундаменталисты не могут простить ему, что он установил экуменические контакты. Это ведь первый Папа, который молился в синагоге и в лютеранском храме, дружески беседовал с людьми иной веры. С другой стороны, ему не могут простить те, кто хотел бы свести роль Церкви к осуществлению политических и общественных целей.

Папа — человек веры, и он не может делать вид, что это не так. Обвинять его в традиционализме — абсурдно. Церковь живет Преданием, преемственностью. Мы видим, что недоразумения происходят, даже когда Папа приезжает в Польшу. Каждый норовит записать его в свою партию, а он не дается. Я думаю, Иоанн Павел II сделал большое дело в истории Церкви. Не отказываясь от богатства Предания и от евангельского пафоса, он сумел преодолеть идею избранничества и нетерпимость, которые так тяжело сказались в истории католической Церкви (если бы так продолжалось и дальше, это привело бы к ее упадку). Римская Церковь доказала, что несет в себе силу самоисправления, а значит, жива. У коммунизма такой силы не было.

— Один из самых известных ваших текстов 50-х годов — эссе “Жрец и шут”. Да и не так давно вы утверждали, что готовы подписаться под его тезисами...

— Я помню это эссе не настолько хорошо, чтобы сказать, что подписался бы под ним и сегодня. Наверняка подписался бы в том смысле, что верю в необходимость неустанной подозрительности во всех общественных и интеллектуальных вопросах. Верю, что надо



неустанно докапываться до сути всего, с чем мы имеем дело. Это не какая-то четкая программа. Это просто общая позиция, и она кажется мне культурно продуктивной.

— *Интересна фигура, которую вы избрали своим героем, — шут. Мне кажется, когда вы это писали, она означала нечто иное, нежели теперь. В “Свадьбе” Выпянского Станчик говорит журналисту: “Шутов у вас все больше, прямо шутовские сходки”. В эпоху постмодернизма, когда всеобщее шутовство стало нормой, когда конформизм требует потрясать шутовским посохом, не нуждаемся ли мы в несколько большей серьезности, в том самом “жречестве”?*

— Все зависит от того, как понимать эту фигуру, эту метафору. Я не считаю, что постмодернизм — шутовство. Постмодернизм, как я его понимаю, это что угодно, только не шутовство. Напротив, он смертельно серьезен, так как хочет навязать нам некую идеологию. Разумеется, нигилистическую — но идеологию. Пристрастие к фигуре шута не связано с нигилизмом и не содержит никакой идеологии. Оно означает определенный идейный подход — вечный поиск во всем уязвимого места.

— *Однако не веление ли нынешнего времени — некоторая доля серьезности? Разве не следовало бы вернуться к проверенным, надежным понятиям, о которых вы говорите, — хотя бы к традиционным категориям добра и зла? Разве не стоит подчеркивать, что истина все же существует, хотя человеческие отношения с нею весьма сложны? Разве такая перспектива не более оправдана в тот исторический момент, который мы переживаем?*

— Быть может. Мы не всегда в состоянии уверенно разобраться, что нам больше нужно в культурной перспективе. Однако я упрямо стою на том, что королевский шут (а не паяц на веревочке) — фигура культурно необходимая, что шут — вовсе не враг того, чтоб отличать добро от зла и правду от лжи.

— *По-моему, фигура шута связана с ниспровержением, хотя ниспровержение отнюдь не означает стремления докопаться до сути. Во всяком случае, сегодня ниспровержение — дело несложное, оно стала чуть ли не гражданским долгом. При этом забываются некоторые очевидные вещи, лежащие в основе нашей культуры.*

— Ниспровергать — вечная потребность человека. Однако это не значит, что мы должны оспаривать всё, независимо от обстоятельств, так как ниспровержение, дескать, хорошо само по себе. Нет. Этого я никогда не говорил.

Оксфорд, июнь 1999 г.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

- В.Бересь** о «Газете выборчей» и «Тыгоднике повшехном»
Д. Ольбрыхский: Как ужиться с соседом?
 Наши люди: Сестра Хмелевская
А. Ермонский: Вы Гомбровича не читали?
Н.Горбаневская и В.Британишский о Викторе Ворошильском
 Н.Подольская: Размышляя о Корчаке
А.Гришина Забота «Мемориала» о поляках
Я. Видацкий: О Юлиуше Мерошевском
П. Мицнер: О субкультурах молодежи
А.Наймродзкий: Клуб друзей Окуджавы
М.Клецель: Лукасинский в Шлиссельбурге
М.Прусак: Москали - друзья и недруги
Р. Пшибыльский: О Бродском, Ахматовой, Мандельштаме
К. Яновская и П. Мухарский: Беседы к концу столетия с
 Л.Колаковским, Б.Скаргой и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ

- Ворошильского, Милоша, Стахуры, Твардовского, Шимборской** и др.
 в переводах
Бродского, Базилевского, Астафьевой, Британишского,
 Горбаневской, Свяцкого и др.



НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

СЛЕДУЮЩИЕ ЖУРНАЛЫ:

Dialog

Ежемесячник, посвящённый современной драматургии.

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесячник для читателей, библиофилов, библиотечных работников и издателей. В каждом номере обзор новостей, рецензии, статьи об издательском деле, анонсы, библиографии.



НОВАЯ ПОЛЬША

Ежемесячник о Польше на русском языке. Публицистика, политика, вопросы экономики и культуры, обзор литературной и научной жизни страны.

twórczość

Самый долговечный и заслуженный польский литературный ежемесячник, посвящённый современной прозе, поэзии и культурной публицистике. Журнал активно участвует в культурной жизни Польши.

DWUMIĘSIĄCNIK ruch muzyczny

Единственный в Польше журнал о музыке, её теории и практике. Выходит раз в две недели.

L I T E R A T U R A na świecie

Известнейший ежемесячник, содержащий обзор произведений зарубежных авторов.

Biblioteka Narodowa. Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich,
00-973 Warszawa, Al. Niepodległości 213, tel./fax 6082488, tel. 6082374